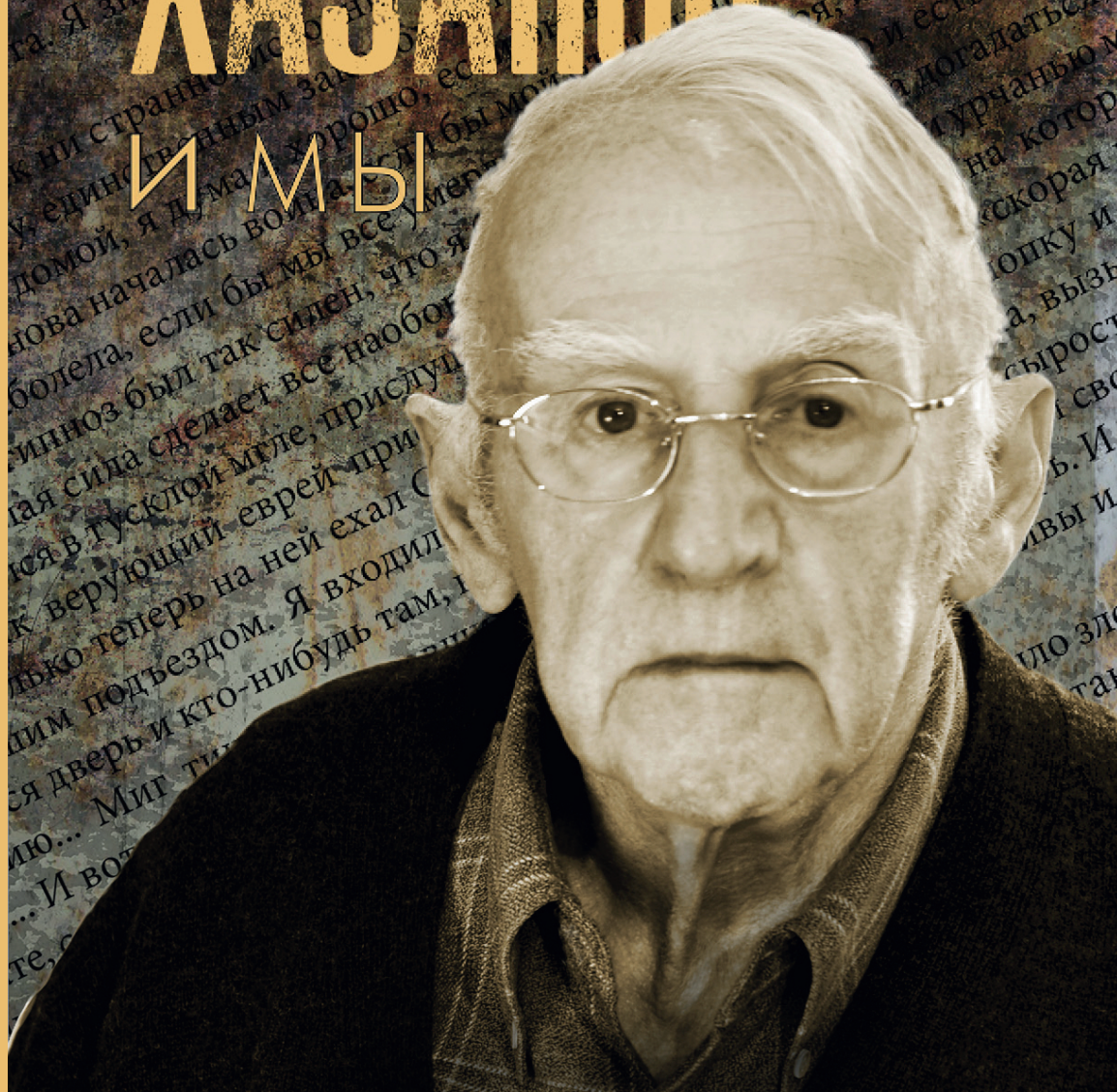


БОРИС ХАЗАНОВ И МЫ

БОРИС ХАЗАНОВ И МЫ



БОРИС ХАЗАНОВ
И МЫ

МЮХЕН
IMWERDENVERLAG
2021

Составители и редакторы
Наталья Генина и Андрей Рево

Оформление обложки
Евгений Антоненков

Вёрстка
Андрей Никитин-Перенский

Спонсор проекта
Мария Венгерова

На первой странице обложки использована фотография:

Борис Хазанов, снимал Владимир Шубин

На четвёртой странице обложки:

Борис Хазанов, снимал Вадим Перельмутер

ISBN 978-1-4478-2011-6

© Борис Хазанов, 2021

© Авторы, 2021

© Евгений Антоненков, 2021

От спонсора сборника «Борис Хазанов и мы»

Борис Хазанов¹ мог бы, как Царь Давид, сказать Всевышнему: «Ты, Который в тесноте даровал мне простор».²

Жить в одно время с мыслителем и автором свободной, сложной, глубокой и свежей прозы, центром общения и человеческого притяжения – само по себе событие, которое хочется праздновать.

Идея проекта, посвященного Борису Хазанову, возникла в связи с чтением его прозы и рассказами Юрия Рудермана, его помощника и собеседника. Складывался образ мастера, который никого бы не оставил равнодушным. Но первоначально мысли сделать что-то для него были расплывчатыми и довольно приземленными. Потолкавшись в одинаково глухие и обыденные двери, я остановилась. Невоплотимость идеи – как и благодарности – всегда мучительна.

К счастью, поэт Наталия Генина сказала: «Самым хорошим делом в честь Геннадия Моисеевича будет литературный сборник». Она же придумала название и взяла на себя составление и редактирование. Так и творческая, и организационная, и редакторская части работы оказались в Наташиных опытных руках.

¹ Борис Хазанов – псевдоним Геннадия Моисеевича Файбусовича.

² Книга Псалмов, 4:2.

Подготовку к печати осуществил создатель электронной библиотеки *ImWerden*, знаток литературы и печатного дела Андрей Никитин-Перенский. Дизайн обложки принадлежит московскому художнику Евгению Антоненкову.

В сборнике приняли участие люди, близкие к мастеру. Нас объединило понимание редкой и высокой ценности того, что мы находимся на одном с ним отрезке времени, благодарность Геннадию Моисеевичу, и радость от общения с ним: для них – непосредственного, а для меня – через континенты и океаны, с помощью его прозы. Не принадлежа к кругу писателя, осмелюсь от имени единомышленников выразить надежду, что сборник будет с удовольствием принят читающими и пишущими и, главное, самим виновником торжества.

*Маша Венгерова,
Сан-Франциско*

Борис Хазанов

СМЫСЛ И ОПРАВДАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Был задан вопрос: в чём оправдание художественной литературы?

Кочевье корней языка ведёт их в новые земли, миграция слов меняет одежду слов, вместе со звучанием изменяется их душа. Слова взрослеют или деградируют; предок не узнал бы потомка. Так латинское *ratio* превратилось во французское *raison*, оттуда проникло в наш язык, где «резон» означает опять-таки не совсем то же самое. Итак, вы хотели бы знать, каков смысл занятий литературой, в чём её резон.

Уме недозрелый, плод недолгой науки!
Покойся, не понуждай к перу мои руки:
Не писав летящи дни века проводить
Можно, и славу достать, хоть творцом не быти.

Антиох Кантемир

Один ответ уже дан: пишут ради известности. Можно было бы продолжать. Пишут, чтобы выставить себя напоказ. Повинуясь потребности выразить себя. Высказаться по поводу той или иной злободневности. Расквитаться с кем-нибудь (литература – это сведение счётов, сказал Арман Лану). Пишут для собствен-

Выступление в мюнхенском Русском литературном кружке.

ного удовольствия. Для заработка (что оказывается чаще всего иллюзией: доходы прозаика средней руки уступают улову опытного собирателя подаяний). Наконец, можно возразить, что, как всякое традиционное занятие, литература существует потому, что она существует: коль скоро есть редакторы, издатели, критики и, по некоторым сведениям, читатели, то должны быть и писатели.

И всё же вы чувствуете унылую недостаточность этих доводов, слишком сиюминутных, – между тем как остаётся без ответа нечто такое, чему невозможно дать конкретное и прагматическое объяснение, нечто... словом, *нечто такое*.

Durch so viel Formen geschritten,
durch Ich und Wir und Du,
doch alles blieb erlitten
durch die ewige Frage: Wozu?

*Gottfried Benn*¹

Стихотворение Бенна обросло множеством интерпретаций; в конце концов оно говорит о смысле существования. Я цитирую его, пытаюсь отдать себе отчёт о смысле того дела, которым мы занимаемся. В постановке вопроса скрыто подозрение, что такой смысл всё-таки существует. Верно ли это? Наши литературные предки могли испытывать тяжёлые сомнения относительно своих творческих способностей, но им не приходила в голову мысль о ненужности самой литературы.

Гораций (ода III, 30 – обращение к Мельпомене) ставит себе в заслугу то, что он ввёл в латинскую поэзию метры эолийской лирики. Он полагает, что этого достаточно, чтобы остаться в памяти потомков до тех пор, пока жрец с молчаливой весталкой

¹ Ты прошёл через такое множество форм, через Я, через Мы, через Ты, – но вечной мукой остался вопрос: зачем? – *Готфрид Бенн* (пер. с немецкого).

будут всходить на Капитолий (*dum Capitolium scandet cum tacita virgine pontifex*), иначе говоря, навсегда. Притязание на бессмертие литературы подкреплено ссылкой на традицию, то есть опять же на литературу; смысл литературы – в ней самой.

Пушкин в стихотворении под эпитафией из Горация (*Exegi monumentum*) выразил уверенность, что его будут помнить и чтить за то, что он, по примеру Радищева, восславил свободу и воспел милосердие; эта четвёртая строфа, как мы знаем, была слегка переделана.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Перекличка (вслед за Ломоносовым и Державиным) с римским поэтом, но ответ совершенно другой. Смысл литературы в том, что она призывает к человечности.

Если вы не устали от цитат, я приведу ещё одну, в совершенно другом роде, из письма Пруста графу Жоржу Лори (*G. de Lauris*). Пассаж, который почти без изменений вошёл в заключительный том романа «В поисках утраченного времени»:

«Величие подлинного искусства... состоит в том, чтобы вновь обрести, схватить и донести до нас ту реальность, от которой, хоть мы живём в ней, мы полностью отторгнуты, реальность, которая ускользает от нас тем вернее, чем гуще и непрозрачней её отгораживает усвоенное нами условное знание, подменяющее реальность, так что в конце концов мы умираем, так и не познав правду. А ведь правда эта была не чем иным, как подлинной нашей жизнью. Настоящая жизнь, которую в определённом смысле переживают в любое мгновение все люди, в том числе и художник, жизнь, наконец-то открывшаяся и осветленная, – это литература. Люди её не видят, так как не пыта-

ются направить на неё луч света. В результате вся их прошедшая жизнь остаётся нагромождением бесчисленных негативов, которые пропадают без пользы оттого, что разум людей их не проявил».

Это, может быть, самое радикальное заявление. Литература есть заново, во всей её реальности восстановленная жизнь. В отличие от той, замусоренной рутинным знанием, прожитой и неотрефлексированной, не высветленной искусством жизни, это жизнь подлинная. В этом и состоит задача литературы, её высший смысл. Литература не есть фантазия или эстетическая игра, но некая сверхреальность.

Легко, конечно, возразить, что, если словесность и могла бы притязать на статус второй действительности, то это всё же действительность, подвергнутая обработке, другими словами, денатурированная в результате химического процесса, именуемого творчеством. В случае с романом «В поисках утраченного времени» – денатурированная дважды: «жизнь» возрождается в памяти рассказчика Марселя, который только собирается писать роман, а сам Марсель существует в сознании писателя Марселя Пруста.

«Обретенное время», последний том эпопеи Пруста, было опубликовано, если не ошибаюсь, в 1927 году; через пятьдесят лет Ролан Барт в лекции, прочитанной в Collège de France незадолго до своей нелепой гибели от несчастного случая на улице, развивает альтернативную мысль об особой раскрепощающей функции литературы. Наш язык по своей природе авторитарен; язык – это инструмент подавления, это фашист. Всякий дискурс в той или иной мере поражен вирусом порабощения и рабства. Язык должен быть изобличен, «подорван» внутри самого языка, эту работу, выполняемую писателем, лектор называет смещением.

«Если, – продолжает он, – считать свободой не только способность ускользать из-под любой власти, но также и прежде

всего способность не подавлять кого бы то ни было, то это значит, что свобода возможна только вне языка. Беда в том, что за пределы языка нет выхода: это замкнутое пространство... Нам, людям... не остаётся ничего, кроме как плутовать с языком, дурачить язык. Это спасительное плутовство, этот блистательный обман, позволяющий расслышать звучание безвластного языка, во всём великолепии воплощающего идею перманентной революции слова, – я, со своей стороны, называю *литературой*» (пер. Г. Косикова).

Литература возвращает человеку свободу от политического, идеологического, научного, религиозного единовластия, от порабощения, орудием которого является уже сам язык.

Сказанное выше может убеждать или не убеждать; похоже, что все попытки оправдать литературу недостаточны, – и не в этом ли, в силу какого-то хитрого парадокса, скрыто её конечное оправдание? Однако вопрос «зачем» фатально смыкается с вопросом «для кого». Кто такие наши воображаемые читатели, есть ли у нас вообще читатели. Поистине скандальная тема нашего времени. Оставим её в стороне: о плачевной участи литературы, вытесненной на обочину в массовом телевизионном обществе, сказано достаточно.

Будем говорить «о высоком». (В конце концов эпохи, когда серьёзная литература предназначалась для ничтожного меньшинства, – правило, а не исключение). Знаменитая фраза Флобера из письма к м-ль Леруайе де Шантпи от 18 марта 1857 г. о том, что писатель в своём произведении подобен Богу в природе, он везде присутствует, но его нигде не видно, – фраза эта не могла не всплыть в нашем разговоре. Для автора «Госпожи Бовари» это формула объективной, безличной прозы. Можно предложить другое сравнение: романист по отношению к своим героям – то же, что игрок над шахматной доской. Он распоряжается фигурами, а они, в свою очередь, диктуют ему свою волю, ибо

живут и двигаются по собственным правилам; таковы законы искусства, которыми писатель не может пренебречь.

Таков ещё один ответ о смысле нашего ремесла: сотворение альтернативного мира.

Альтернативного, так как он вовсе не притязает на воспроизведение действительности; более (или хуже) того, он молчаливо ставит под сомнение реальность реального мира. Да, под сомнение, и всё же (замечает Франсуа Мориак в эссе «Романист и его герои») совесть писателя не чиста: люди «с ужасом» узнают себя в этих выдуманных героях. Так это или не так, действительно ли Чехов изобразил в художнике Рябовском своего друга Левитана, а в Тригорине самого себя, – мир, созданный писателем, побуждает читателя задуматься о загадках мира, в котором он живёт, и о тайне своей собственной жизни.

Уподобление литературного творчества игре, пусть даже такой рафинированной, как шахматы, может покоробить: оно как будто игнорирует нравственные ориентиры. Впрочем, некоторые представители послесоветского поколения писателей в сегодняшней России с удовольствием подхватят тезис, согласно которому искусство не интересуется разницей между добром и злом. Идея не новая, как все шокирующие идеи, но на ней стоит остановиться.

Открытие неприглядной действительности, беспощадный натурализм великих романов XIX века, Бодлер, Достоевский научили видеть в человеке существо, не заслуживающее доверия, – трезвый взгляд, что и говорить, и покончивший со всяческим прекраснотушием. Редукционистские теории – экономические, социологические, психологические – санкционировали этот взгляд, этот вектор, направленный вниз, в грязные закоулки жизни и тёмные подвалы души; туда переселилось искусство. Отсюда было недалеко до смакования безобразного, до фекального эстетизма. (Термин «фекальная литература» изобретён не мною). Из литературы культ безобразия перекочевал на сцену,

его с восторгом подхватил экран. Сложился, по закону обратного воздействия искусства на творца, новый тип писателя-циника, драматурга-циника, кинематографиста-циника, для которого иной взгляд на вещи, иной подход – как бы уже дурной тон. Проза, драма, кино словно не чувствуют себя вправе заниматься чем-либо другим, кроме раскапывания экскрементов. Предполагается, что рвотный рефлекс, который хотят возбудить у читателя или зрителя, есть новая разновидность катарсиса.

Между тем пафос разоблачения выдохся. («Красавице платье задрал, Видишь то, что искал, а не новые дивные дива»). Эпатаж приелся, кажется, что всё уже сказано, всё названо своими словами. Но надо продолжать, и постоянной заботой этого искусства становится переплёвывание самого себя. Каждый раз надо выдавать что-нибудь позабористей. Литература, столь успешно восставшая против надоевшего морализма, в свою очередь надоела.

Заговорив о литературе безобразия, унижающей читателя, рискнём ли мы вспомнить о древнейшей функции искусства – творить красоту? От этого слова пахнет, как сказал бы незабвенный Гаев, пачулями. От него разит парикмахерской и кичем. И всё-таки. Перечитайте «Египетские ночи», и вы, по крайней мере, почувствуете, что такое эстетическое совершенство прозы. Красота прозы отнюдь не чурается жизненной прозы. Её не пугают подвалы жизни. Чехов жаловался, что в рассказе «Припадок» никто не заметил описания первого снега в переулке публичных домов. Повесть «Чёрный монах» начинается за здравие, кончается за упокой; и нечасто встретишь в русской литературе произведение, чей итог, сюжетный и философский, был бы таким беспросветным. Диагноз, поставленный русской деревне в повестях «Мужики» и «В овраге», в рассказе «Новая дача», безнадежен. Но как это всё написано!

Вернёмся к морали: что же всё-такистряслось с «идеалами»? А ничего – их попросту больше нет. Они исчезли. Литера-

тура отгрызла их, как волк – лапу, защемлённую в капкане. Осталось другое – и я не думаю, что оно противоречит нашему представлению о литературе как о высокой игре. После дурно пахнущего натурализма, после гнилостного эстетизма, после протитуированного соцреализма, после всяческого хулиганства и раздрызга мы возвращаемся в пустую башню слоновой кости, на которой висит объявление «Сдаётся в наём», и с удивлением замечаем, что с тех пор, как её покинули последние квартиранты, кое-что переменилось. Тысячу раз осмеянная башня стала не чем иным, как одиноким прибежищем человечности. Подумайте над этим. Читайте хороших стилистов. Что такое стиль? В самом общем смысле – преодоление хаоса. Ничто так не очищает душу, как чтение хороших стилистов. Потому что тот, кто хорошо пишет, отстаивает честь нашего языка, другими словами, отстаивает достоинство человека.

Современникам всегда казалось, что их время – самое ужасное. Минувший век, однако, может похвастать новациями, о каких не слыхали прежде. Я не говорю о компьютерах и генетике. Это был век концлагерей, век тоталитарных государств, ублюдочных вождей и вездесущей тайной полиции. Век «масс», для которых тотальная пропаганда, оснащённая новейшей технологией массовой дезинформации, с успехом заменила обветшалую религиозную веру. Век двух мировых войн, необычайного совершенства технических средств истребления людей и разрушения памятников цивилизации, когда стало возможным в считанные минуты уничтожить с воздуха целый город, в короткий срок умертвить в газовых камерах шесть миллионов женщин, мужчин, детей и стариков.

Мы родились в эпоху величайшего умаления человека. Литература, для которой человек по-прежнему остаётся высшей ценностью, именно об этом, об этой ценности, и твердит. Вопреки всему, она настаивает на том, что нет ничего важнее челове-

ческой личности. Вот в чём, с вашего позволения, смысл работы писателя, резон литературы.

К этому как будто уже нечего прибавить.

Но – ещё два слова. Рано или поздно каждый, кто всерьёз занимается литературой, догадывается, что его суверенность – мнимая. На самом деле он находится в услужении. Не у государства, или общества, или народа, об этом и говорить сегодня как-то неловко. Литература предстаёт перед писателем как некая сущность или, если хотите, живое сверхсущество, наделённое вечной жизнью. Оно стоит над всеми современниками и соотечественниками. Все мы, великие и невеликие, знаменитые и неизвестные, пляшем под его дудку. Оно существовало до нас и переживёт нас всех. Мы умираем, сказал Блок, а искусство остаётся. Его конечные цели нам неизвестны.

ПАРДЕС

Я решаюсь изложить, по возможности кратко, то, что произошло на днях, точнее, в одну из этих ночей. Должен ли я объяснять, почему выбран такой заголовок? Слово «пардес» означает сад, а также Путь познания. Опасный путь, на котором можно погибнуть, не дойдя до цели. Думаю, этого пояснения будет достаточно.

Как всегда, я лёг в половине двенадцатого, чтобы спустя полчаса окончательно убедиться, что не усну. Надо чем-то заняться, а не пичкать себя таблетками. Пришлось одеться, я вышел, оставив часы на ночном столике, Чоран рассказывает, как он сражался с бессонницей: колесил ночами до изнеможения на велосипеде. Я брёл пешком. Я двигался, как автомат, то, что со мной происходило, можно было принять за продолжение сна, но эта гипотеза не выдерживает критики. В полутьме я слышал стук своих шагов по асфальту. Ночью улицы кажутся незнакомыми. Я приближался к тёмной массе деревьев, это был Английский сад, известная достопримечательность нашего города, правильной было бы назвать его лесом. Стоит только сойти с главной аллеи, и тропинки, ветвьась и пропадая, и появляясь вновь, увлекут вас в шорох трав, мрак и шёпот деревьев. Он огромен, этот сад. Он похож на еврейский Пардес, о котором только что сказано; поздний час усугубил сходство. Я старался не слишком

удаляться от аллеи, рассчитывал выйти где-нибудь возле Северного кладбища и вернуться домой ночным автобусом.

Небо заволоклось, я больше не видел звёзд. Несколько времени погода холод пробрал меня, оказалось, что я сижу, ловлю свои ускользящие мысли, боясь уснуть тут же на скамье. Чаща поредела, и показались огни. Я понял, что несколько сбился с пути, но это меня не смущало. Ночь показалась мне короткой. Тусклое серебро рассвета покрыло булыжную мостовую. Один за другим гасли тлеющие фонари. Окна мёртвых домов блестяли, как слюда. Здесь совсем не было машин; облупленные фасады, зияющие подворотни, тротуары, истосковавшиеся по ремонту, – я очутился на дальней окраине.

Всё же любопытно было узнать, что это за район. Как называется улица? Щитки с номерами домов, полукруглые под угловатыми фонариками, напомнили мне далёкие времена. Солнце блеснуло в просвете улицы, и я разобрал, наконец, надпись. Так и есть! Название переулка было начертано по-русски.

Кто-то выбежал из ворот: девочка лет двенадцати. А мы тебя ждём, сказала она. Я силился вспомнить, как её зовут. Куда ты пропал? Лида, возразил я, мне кажется, я заблудился, мне пора домой. Хотел спросить, как дойти до ближайшей станции метро. Но тут же спохватился, что никакого метро ещё не существует. Да и что значит: домой? Я был дома. Мы вступили в сумрачную прохладу двора. Я узнал высокий, сверху косо освещённый брандмауэр, пожарные лестницы, рёбра старой снеготаялки. Солнце сверкало в стёклах верхних этажей, где-то там было и наше окно. Ничего не изменилось. И я рассмеялся от счастья.

Все стали в кружок. Тыча пальцем в каждого, я приговаривал: «Заяц белый, куда бегал, в лес дубовый, что там делал?..»

На минуту я замешкался. Неужели забыл считалку?

«Лыки драл, куда клал? Под колоду. Кто украл?..» Магия ритма несла меня дальше, «вынь, положи, кого берёшь, как за-

муж выдаёшь?» – круг замкнулся, я стоял, как вкопанный, с протянутым пальцем. Это была Феня.

Феня, Фенечка, дочь дворника, смуглая, черноглазая, слегка косящая, в которую мы все были влюблены. Она смотрела на меня и мимо меня.

Я пробормотал: «Тебе водить». Кто-то подбежал к доске, ударил ногой, палочки рассыпались, и все бросились прятаться кто куда. Для тех, кто забыл, напомню, что игра заключается в том, чтобы неожиданно за спиной у водящего выскочить из укрытия и, ударив ногой по доске, вновь раскидать палочки. После чего водящий собирает их заново, опять начинаются поиски, и так до тех пор, пока он не отыщет всех. Феня сидела на корточках возле доски, лежащей на кирпиче так, что один конец был на земле, а другой висел в воздухе. Двенадцать палочек были собраны, пересчитаны и уложены на краю доски. Раз, два, три... – она выпрямилась, приложив руку козырьком к глазам.

«Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать».

По лестнице чёрного хода, прыгая через ступеньку, я взбежал на второй этажа, подкрался, как тать, к окошку. Смуглая девочка в платье, не доходившем до коленок, стояла в нерешительности посреди двора. Я не мог оторвать от неё глаз. Вдруг, почувствовав мой взгляд, она обернулась – я отпрянул от окна. Выждав немного, я снова выглянул. Её не было. И почти сразу же послышались осторожные шаги. Она поднималась по лестнице. Она не боялась, что кто-нибудь выбежит из другого выхода, в противоположном углу двора. На цыпочках я поднялся ещё выше. Больше ничего не было слышно. С колотящимся сердцем я стоял между маршами. Добравшись до площадки третьего этажа, поглядел снова. Двор по-прежнему был пуст. Я понял, что она вышла и направилась на поиски в другой угол двора. Тут-то и можно было выскочить и топнуть по доске с палочками. Но я медлил.

Я обернулся. Феня стояла передо мной. Сердце моё оборвалось. «А вдруг кто-то выскочит?..» – пролепетал я, понимая, что дело не в этом. Игра уже не имела никакого значения.

Она молчала. Мы стояли друг перед другом, она была чуть выше меня, тоненькая, в темно-оранжевом платье, которое удивительно шло к её смуглой коже, в носках и сандалиях. Чёрные глаза косили, непонятно, смотрит ли она на тебя или мимо. Мы переминались в растерянности, мы были одни, так никогда не было.

Оглянувшись, я быстро сказал: «Пойдём со мной».

Она подняла брови.

«Бежим, пока никто не видит. Здесь недалеко... Феня, – продолжал я, – ведь я вернулся из-за тебя!»

По правде сказать, эта мысль пришла мне в голову только сейчас.

«Откуда это вернулся?» – сказала она надменно.

«Оттуда. Надо только пройти через сад. Там можно запутаться, пока дойдёшь до другого конца. Я знаю дорогу».

«Да ну тебя», – сказала Феня.

Мы топтались, не зная, что сказать друг другу.

«Ну я пошла», – сказала она.

Со двора доносились голоса, видимо, там начали сызнава считаться, игра возобновилась.

«Поднимемся на минутку, а то ещё кто-нибудь прибежит прятаться». Я тащил Феню за собой наверх.

Она выдернула руку, остановилась и спросила: что такое Пардес?

Тут я вспомнил, что ничего ещё не знал в то время, – как же она могла спрашивать, если я не упоминал о Пардесе?

Всё же я ответил:

«Заколдованный сад. Там однажды три мужика решили прогуляться, три мудреца. Одного звали бен Сома, другого бен Абуя, а третьего... забыл, как его звали. Попросили Акибу...»

«Акибу?»

«Ну да; такое имя. Попросили пойти с ними, он знал дорогу. Надо было спешить, потому что сад закрывался после захода солнца. Он пошёл вперёд, а потом обернулся и видит: один мудрец сошёл с ума, другой вырвал кусты и посадил вверх корнями, а третий...»

Мы оба запыхались. Мы стояли на площадке последнего этажа.

«Что третий?»

«Умер».

«Никуда я не пойду. Иди сам».

«Да ведь это же сказка».

«Откуда ты это всё знаешь?» – спросила она.

«Я не знаю, это я потом прочту».

«Потом?»

«Когда вырасту», – сказал я и опять спохватился, что говорю что-то не то. Выглянул наружу, двор внизу был пуст, народ разошёлся по домам. «Побежали!» – я схватил её за руку. Но тут открылась дверь. Там была кухня. Все двери на лестнице чёрного хода вели в коммунальные кухни. Выглянула тётя Женя, в фартуке, с полотенцем в руках.

«Как тебе не стыдно? Все собрались, ждут. Гусь, наверное, уже перестоял».

«Кто ждёт?» – спросил я растерянно и вдруг вспомнил.

Тётя Женя наклонилась к плите, открыла дверцу духовки и вытянула чугунную латку, похожую на маленький саркофаг.

«Феня, – сказал я, – у меня день рождения, совсем забыл. Пойдём к нам. Мы ненадолго».

Мне показалось, что она что-то проговорила, у меня нет подарка, что-то в этом роде. Ерунда, возразил я, но её уже не было. Я наклонился над железными перилами и никого не увидел. Какая проворная, подумал я, какая лёгкая, быстрая, и, догнав в коридоре тётю Женю, распахнул перед ней дверь нашей комнаты.

«А вот и мы!» – громко сказала она. Саркофаг был водружён посреди праздничного стола. После смерти мамы, в дни моего рождения хозяйничала тётя Женя. Гости обменивались восклицаниями, потирали руки, в открытой латке загорелый оранжевый гусь лоснился и дышал жаром, кто-то уже приготовился подцепить его длинной двузубой вилкой. Мой отец стоял во главе стола с откупоренной бутылкой тёмного стекла. Гусь шлёпнулся на эмалированное блюдо. Тётя Женя накладывала на тарелки лакомые куски и потемневшие, размякшие половинки яблок. А в углу на столике, где обычно помещалась швейная машина, были разложены подарки: книжки, завёрнутые в цветную бумагу, перевязанная красной ленточкой коробка конфет «Новая Москва» и самое главное – похожий на волшебный сон набор деталей «Конструктор».

На мне был мой новый костюм, накрахмаленная рубашка, немного мешавшая поворачивать голову, свежесглаженный красный пионерский галстук; я был радостно возбуждён и что-то лепетал в ответ на поздравления и пожелания. Стук ножей и вилок заглушил мои слова.

Потом явился пирог. Набрав полную грудь воздуха, напыжившись, я дунул из всех сил. Огоньки одиннадцати тонких ёлочных свечей всколыхнулись, несколько свечек погасло. Гости аплодировали. Мой отец потушил остальные.

Я думал о Фене. За спиной у меня слышался смех, музыка – тётя Женя играла на пианино. В коридоре было тускло и скучно. Я раздумывал, не вернуться ли, меня смущала двусмысленность этого слова: вернуться. Между тем я уже стоял на лестничной площадке, оглянулся – мое бегство, по-видимому, осталось незамеченным – и уже спокойно, уверенный, что найду Феню, пересёк наш двор, раздвинул створы ворот и выглянул в переулок. Я здесь, тихо произнёс её голос. Она стояла за моей спиной.

«Что же ты не пришла?»

Она молчала.

«Был пирог, – сказал я. – С вареньем, пальчики оближешь».

«Я не люблю с вареньем».

«А с чем?»

«С мясом. И вообще».

«Что вообще?»

«И вообще мне нельзя к вам ходить. Мне мама не велела».

«Почему?»

«Ты еврей, – сказала она. – А моя мама татарка. И я тоже татарка».

«Ну и что?»

«Евреи не любят татар. Никто не любит татар».

«Наоборот, – сказал я. – Это евреев никто не любит».

Надо было спешить, медленно умирал летний день. «А то закроют». Мы прошли весь переулок, свернули в другой, теперь мне всё было знакомо. Наконец, город кончился. Впереди в лучах заката манил, темнел, зеленел Сад.

«Вспомнил, – сказал я, – как звали третьего. Бен Асай. А вёл их бен Акиба».

«Они все были евреи?»

«Да. Все были евреи».

«Расскажи, – попросила Феня, – про этого Акибу».

«Это был великий мудрец. Он прошёл через Пардес, и ничего с ним не случилось».

«Я боюсь».

«Дурочка. Это же сказка. Легенда!»

Мы шли по широкой аллее, не шли, а шествовали, и как я был горд, какое счастье шагать вдвоём, держась за руки, навстречу птичьему гомону! Закатный свет исполосовал дорогу. Я крепко держал Феню, воображал себя рабби Акибой и знал, что с нами ничего не случится. Навстречу шли двое, ночной обход – оба, мужчина и женщина в зелёных мундирах баварской полиции. Немного погодя мы сошли с дороги, извилистая тропа

вела нас через поляны, сквозь кустарники. Небо уже пылало серебряным огнём, и я разглядел в высоте белёсый серп.

«Далеко ещё?»

Мы присели на скамью. Ночь накрыла нас с головой.

«Немного передохнёшь, – сказал я, – а я тут погляжу, где пройти покороче. – Я сейчас!» – крикнул я, и в самом деле, дорога, по которой я направлялся вчера в город моего детства, была совсем рядом. Я вернулся к Фене.

Но что-то случилось, и я почувствовал, что никогда больше её не увижу. Она погибла там, в этой чаще. Не каждому дано пройти через Сад. Нет больше скамейки, нет никого, я пробовал кричать, звать и ни до кого не докричался. Открыв ключом дверь моей квартиры, я увидел неубранную постель, часы на ночном столике. Полчаса прошло с тех пор, как я вышел. Я лёг и заснул мёртвым сном, от которого лучше бы не просыпаться.

СВЕТЛОЯР

Наконец-то! В пахучей мгле пронеслись огни, простучали колеса на стыках, проследовал десятичасовой скорый. Пора. Не слышно голосов в коридоре. Синий свет ночника вздрагивает в такт биению сердца. Пора! Быстро, уверенно, сам удивляясь своему проворству, я отлепил датчики, отсоединил трубки, сбросил покровы и путы, сел на своём ложе, мои голые ступни не доставали до пола. Я проскользнул по коридору мимо столика, на котором горит лампа под чёрным колпаком, что-то несло меня, я не шёл, я летел – тёмный, тёплый ветер пахнул в лицо. Ни малейшего представления, куда я направляюсь, – знаю только, что надо спешить, у меня мало времени. Выбрался из колючих кустов на берег.

Неширокая, тусклая, как поверхность металла, река, дымящееся поле с едва различимой кромкой леса на горизонте. Луна поднялась уже высоко. Луна превратила в пространство сна обыкновенный русский пейзаж. Скользя и хватаясь за что-то, я съехал с глинистого обрыва на влажный холодный песок, и хотя здесь, внизу было свежо, подумал, не войти ли мне тоже в воду, – я говорю «тоже», потому что в реке, в каких-нибудь десяти метрах от меня, стояла по пояс в воде русалка.

Тут я вспомнил: они меня хватятся! Прибегут за мной... Глушь, я недосыгаем. Да, почти со злорадством я подумал о том,

что они до меня уже не доберутся, это мой последний, наконец-то удавшийся побег. Да и кто хватится, кто заметит? Они думают, что я – это тот, кто лежит на высоком ложе, в застеклённом боксе, точно музейный экспонат; меня зовут – я не слышу, колят иглой – я не шевельнусь, сердце сокращается, зрачки слабо реагируют на свет, я не замечаю никого и ничего. Пусть делают с моим телом что хотят, они не могут понять, что мне попросту не до них, не до всех этих пустяков, у меня остаётся слишком мало времени. Я переминаюсь в нерешительности на холодном песке, сейчас брошусь в воду, смотрите-ка, она зовёт, манит пальчиками еле заметно, та, что по пояс в воде. Но я боюсь воды, никогда не умел плавать; страх сидит во мне с тех пор, как я провалился под лёд, как если бы вода не простила мне, что я спасся.

Я всё это помню. Я покинул самого себя, я над моим померкшим сознанием; я – всё ещё тот, кто лежит за стеклом, но он – не я, меня нет, и никогда им этого не понять. Прошла весна. Прошли лето и осень после смерти моей матери, настала зима, и было необыкновенно весело. Играла музыка: радио в репродукторах или, может быть духовой оркестр. Вдоль всей аллеи вокруг пруда ярко-тусклые фонари. Народ съезжает на санках на нерасчищенный лёд, копошится в снегу, стоят няни-домработницы, дяденька бранит дочку за то, что она запачкала варежки. А я бегу к середине пруда, там в снегу торчит палка, надо мной высокое тёмное небо, я хватаю палку и, как во сне, молча, медленно погружаюсь, в ботиках и рейтузах, в пальто с поднятым воротником, вокруг которого обмотан шарф, в шапке с завязанными ушами, всё ниже ухожу по грудь, по шею, вокруг ледяные обломки, тёмная пахучая вода, мои руки торчат над водой, и так же молча дяденька, подкравшись по кромке льда, одним рывком вытаскивает меня из воды.

После этого он опять стоял рядом с дочкой и, должно быть, доругивал её за испачканные варежки; музыка провожала нас,

мы брели домой с Чистопрудного бульвара, оба с громким плачем, по переулку, мимо домов, мимо поликлиники, я и домработница, и мне было стыдно, что я обмотан её платком, как девчонка, вода хлюпает в ботиках, капает с рукавов и превращается в сосульки. Я сижу в корыте с горячей водой, и тотчас наступает утро.

Бегом, босиком, по сырой траве, жмурясь от яркого и горячего солнца, я несусь к качелям, они уже там, сказать или не сказать? Подбегаю и говорю:

«А я тебя видел».

Не следовало сразу открывать тайну, а надо было помучать её намёками, но надо спешить, у меня мало времени, мы приехали неделю тому назад, солнце блестело между верхушками деревьев, и луг сверкал, усыпанный синими брильянтами, мой двоюродный брат по имени Натка покачивался на доске, хозяйская дочка, в пёстром платье без рукавов, светлоглазая, загорелая, что давало ей непонятное преимущество перед нами, стояла, приставив к глазам ладонь козырьком, делала вид, что смотрит не на меня.

«А я видел».

Она опустила руку и стрельнула глазами в меня, словно интересуясь, кого это я видел.

Реку, чёрную, как олово, хотел я сказать, и дымную даль, и тебя в реке, ты покачнулась, выходя из воды, лунный бисер одел твою наготу, я всё видел, круги незрячих глаз, ямку между ключицами, бугорки сосков, твой впалый живот и бёдра, едва успевшие округлиться.

«Врёшь, – сказала она, – кто это купается ночью?».

«Ты, – сказал я, мне хотелось её подразнить, – теперь я знаю, какая ты».

«Какая?» – спросила она надменно.

Мы стояли на доске, Натка, тощий, как щепка, в трусах и сандалиях, на одном конце, я на другом, Соня сидела посередине,

верхом, мы по очереди приседали и отталкивались, скрипели цепи, медленно, неохотно, всё шире и всё стремительней раскачивались качели, летели светлые волосы Сони, летели её загорелые ноги, вспархивало её пёстрое платье, и ещё, и ещё, и всякий раз я видел перед собой застывшее в ужасе и восторге лицо моего двоюродного брата, приседал и отталкивался, и уносился ввысь, вперёд, вися на цепях, к летящим навстречу небесам. Мы остановились. Руки дрожали, всё ещё вцепившись в цепи. Она слезла с доски. Я спрыгнул следом.

«Ты куда?» – лениво, сонным голосом спросил Ната.

Меня несло куда-то через луг.

«Эй, ты!»

Голос донёсся, как эхо, издалека. Они не знали, что времени в обреш, что годы не имеют значения и одно тянет за собой другое. Обернувшись, я в последний раз увидел хозяйскую дочь, она всё так же стояла, приставив к глазам ладонь, выбрался из кустарника, прокрался по коридору. Только что отгремел вдали ночной десятичасовой поезд.

То, что проплывало на дне моих глаз, подлинное отражение действительности, никак не согласовалось с окружающими людьми и предметами, они мешали мне своей мнимостью. Я чувствовал, как надо мной склонилась фигура в белом. Дежурный врач приподнял мне верхнее веко, в чём не было никакой надобности, мои глаза были открыты. Тело, с которым они что-то делали, не было моим телом. Настала глубокая тишина во мне и вокруг меня; неслышно двигались фигуры; я всё ещё был жив. Они меня сейчас убьют, с ужасом подумал я, – но нет, они хотят продлить мне жизнь, а что это, собственно, значит? Сейчас, когда я начинаю что-то понимать. Мне хотелось крикнуть: оставьте меня в покое, дайте додумать самое главное!

Что же именно, что?.. Что ты хочешь додумать, спросил врач или кто он там был. Но так же, как невозможно выразить в двух словах главный вопрос, невозможно дать и короткий от-

вет. Я понимаю – или догадываюсь, – вопрос о смысле моего существования есть одновременно вопрос, где оно, что оно такое – моё существование. В каких глубинах или, может быть, на каких высотах пребывает моё «я»? Кто задаёт этот вопрос? Стоит только спросить, что такое мое «я», как оно исчезает. Прячется в самом вопросе. Положим, я сознаю себя; но я сознаю и то, что во мне живёт это сознание, а значит, живёт и сознание моего сознания. Вот так и гоняешься между зеркалами за собственным двойником, за призраком самого себя.

Только сейчас до тебя доходит. Всю жизнь было некогда, жизнь отвлекала от жизни, вот в чём дело, милейший, не хватало терпения, не было смелости, мудрости всмотреться в неё. И только в эти последние мгновения становишься самим собой, сбрасываешь тряпье. Только в эти мгновения ты способен постичь истину. Ты сам становишься истиной. Ты, от которого уже ничего не осталось.

Медленно, медленно катятся оловянные воды. Даль в тумане. Завтра будет солнечный день. Завтра будут летать качели. Ещё ничего не произошло, вся жизнь впереди. Если бы знать, что ждёт. Если бы не знать... Еле слышимый звук рождается в тишине, слабый плеск доносится, удар хвостом-плавником. Шевельнулась вода, пошли круги, сейчас она вынырнет.

Нагота не существовала сама по себе, кто-то должен был её видеть. Стоило потерять её из виду, как она исчезала, и осиротевшая память могла лишь перебирать мокрое покрывало тайны. На другой день, когда я увидел Соню и моего брата на площадке возле качелей, где был насыпан песок, и она стояла, заслонясь от солнца ладонью, голоногая и загорелая в своём пёстром платице, когда я сказал с замиранием сердца, со злорадством, словно то, что произошло ночью, давало мне власть над ней: а я тебя видел! – то сейчас же почувствовал, что от моего самодовольства ничего не осталось, открытие не имело никакой цены. Секрет её тела, приоткрывшийся было, чтобы увлечь за собой в во-

ду случайного соглядатая, замкнулся, как створки раковины, божественная нагота заволоклась, я глядел на Соню, словно никогда не знал её без одежды, я ничего не присвоил из увиденного ночью, в сущности, ничего и не видел, и презрительная гримаска на её лице как будто подтверждала это.

Нужно было зажмуриться, перевести стрелки назад, что и случилось, и опять (или впервые?) в реке поднялась фигурка, вся в серебряной чешуе, шла и не шла, танцую, балансируя тонкими руками, выступили соски, в тёмной воде просвечивал лунно-белый живот, бледная чаша бёдер; было зябко, холодно сидеть на песке, я встал, в этот час вода, разогретая за день, была теплей воздуха, плавать я не умею, но так тянуло искупаться! Это был не сон и не обман зрения, но моё зрение соткало из лунных волокон её округлившееся тело, и это тело тотчас перестало существовать, как только я вспомнил, что пора возвращаться, и я вовсе не был уверен, что видел её на самом деле, когда, пробежав к качелям, объявил или, может быть, хотел объявить: теперь я знаю, какая ты из себя.

Она посмотрела на меня с сонным, туповатым выражением, открыв рот, медленно наклонилась и стала яростно царапать свои голени цвета, который бывает у кожурки арахиса, оставляя белые полосы ногтей на загорелой коже.

«Какая?» – спросила она.

Подозреваю, что мой двоюродный брат Натан слышал эти слова. Что и подтвердилось. Кстати, он пропал без вести, и я тоже отправился бы на фронт, если бы война продлилась до осени, но в то утро никто ни о чём не подозревал. Он спрыгнул с качелей, отозвал меня в сторону и сказал, что нам надо поговорить. Нет, это мы потом пошли с тобой в лес, возразил я, а перед этим качались втроём на качелях. Он как-то легко со мной согласился, пожалуйста, сказал он надменно, если ты настаиваешь. Я не настаиваю, ответил я, просто так было. Мы вознеслись вверх, и полетели вниз, и снова вверх, и следом за нами проваливались

и взлетали деревья, взлетало сонино платье, и её руки вцепились в доску, и глаза стали неподвижными. И особенным шиком, особым эффектным трюком было повиснуть, запрокинув голову, на цепях в мгновение, когда ты долетал до уровня перекладины, знать, и подумать молниеносно, что будет, если пальцы вдруг разожмутся. Всё это продолжалось до тех пор, пока Натка не сказал ей: ты побудь здесь, у нас мужской разговор.

«Надеюсь, ты не станешь отрицать, – сказал он, специально выбирая взрослые выражения, – надеюсь, не станешь отрицать?»

«А в чём дело-то?» – спросил я, прекрасно понимая, в чём дело.

Он сказал: «Мне всё известно».

У меня заколотилось сердце, и я спросил: «Что известно?»

«Всё», – отвечал он.

Мы выбрались из чащи, и пламя небес ударило нам в глаза; мы зажмурились.

«Что это ты там говорил, что ты её видел, – где ты её видел?» – небрежно спросил Натка, и я понял по его тону, что он всё-таки знает не всё.

Он поднял голову к верхушкам деревьев и сказал, что сегодня особенный день: солнцестояние. Я впервые слышал это слово, но на всякий случай переспросил: сегодня?

«Я бы вызвал тебя на дуэль», – продолжал он задумчиво, и я понял, что задавать вопрос, где он достанет оружие, излишне, так как его отец был военным, носил форму и портупею, и шпалу в петлице. Кроме того, я давно догадывался, что между Наткой и Соней что-то есть. Они были вместе, когда утром я сбежал со ступенек террасы. У него было преимущество, он был старше меня почти на два года. Но зато я видел то, чего он, конечно, не видел, и оттого, что он не знал, что именно я видел, я почувствовал, что в руках у меня козырь.

«Ну и вызывай», – сказал я.

«Жалко».

Я не понял.

«Убивать тебя жалко, – сказал он. – Впрочем, – и это тоже было особое, никогда не употреблявшееся слово, – впрочем, ты ведь всё это выдумал».

«Что выдумал?» – спросил я, сбитый с толку.

«Что она купалась ночью, всю эту чепуху. Ведь на самом-то деле, – добавил он, – ты там».

«Где – там?»

«В реанимации, где же ещё».

«Ну и что», – сказал я растерянно.

Значит, он всё-таки знает. Где я и что со мной, всё знает. В это время мы уже пересекли поляну, прошагали по лесу, продрались через кустарник. Перед нами была река. Внизу, под обрывом, полоска песка. Вода у берега была тёмной, как графит, а дальше сверкала так, что было больно смотреть.

«Мне её переплыть, раз плюнуть», – сказал Натан.

Мы побрели назад. Он стоял у сосны и стругал кору перочинным ножиком, который отец подарил ему ко дню рождения. Это было приятное занятие, резать мягкую сосновую кору. Заострить нос, подрезать корму и выдолбить углубление. Так как же, сказал он небрежно, не поднимая головы. Мы молчали, он отшвырнул кору, что как? – спросил я, и мы двинулись дальше.

«Имей в виду».

«Что – имей в виду?»

Я продолжал думать о реке, которая днём казалась совсем не той, в которой купалась Соня, и вдруг меня осенило, что днём она обыкновенная девчонка с исцарапанными ногами, а ночью русалка, и в этом скрыта разгадка, почему её нагота кажется невероятной, несуществующей наутро, – но я-то знаю, я видел. Конечно, я не стал об этом говорить, уж очень это всё звучало по-детски.

«Имей в виду, – проговорил Натка, – что она мне... – и тут он употребил грубое слово, которое я, конечно, знал, но сейчас оно было как удар молотком по темени. – Она мне дала!»

Я остолбенел: «Когда?»

«Тебя ещё не было».

«Врёшь», – сказал я.

«Хочешь, спроси у неё. Она мне отдалась. Я её, – он сложил колючком два пальца и всадил туда палец другой руки. – Это чтоб ты знал».

Он взял нож за кончик лезвия, примерился и метнул в дерево. Я вырвал нож из ствола, отступил на пять шагов и тоже метнул, нож ударился о ствол и отлетел в сторону. Мне пришлось подобрать его и вручить Натану. А ты что, разве не заметил, сказал он немного погодя, но я не понимал, что он имел в виду. По походке, объяснил Натка, можно сразу узнать, целка или нет. Мы подошли к веранде, кто-то выбежал навстречу, это была моя тётя, мать Натана, из кухни послышался голос: «Молоко убегаёт!», но тётя даже не обернулась, она молча смотрела на нас, закрыв рот ладонью, оказалось, что началась война.

Он, конечно, всё выдумал насчёт походки, и о том, что у него было с хозяйкиной дочкой, но мне нужно было знать наверняка, я решил спросить об этом Соню; только что проследовал десятичасовой скорый, стеклянная дверь приоткрылась, неслышно вошла в белом, но не дежурная сестра, а гостья; сестра стояла за её спиной. Сестра что-то объясняла укоризненным шепотом, по видимому, хотела сказать, что это не время для посещений и что ко мне вообще никого не пускают.

Не на что было сесть, она стояла возле моего ложа, так называемой функциональной кровати. Я сначала не понял, кто это, за столько лет она изменилась до неузнаваемости, но не хотел быть невежливым, сделал вид, что узнал её. Ты не хочешь меня поцеловать, сказал я с упрёком. Она наклонилась и коснулась губами моего лба. По-моему, он умер, сказала она, повернувшись

к сестре, которая стояла за стеклом. Сестра помотала головой. Мне стало смешно, я хотел сказать, что я действительно отдал концы, но не для неё, ведь иначе она бы не пришла.

Как замечательно, хотел я сказать, как прекрасно, что ты здесь, Соня... и тут же спохватился, это было недоразумение; ума не приложу, как это я не заметил, что женщина, стоявшая перед мной, босая, в одной рубашке, была вовсе не Соня.

Мне стало стыдно.

Она улыбнулась.

«Ничего страшного, ты просто меня не помнишь, – сказала она. – Ты и квартиру нашу, наверное, не помнишь, квартира была пуста, кто-то позвонил с улицы, и ты побежал отворять».

«Нет, – растерянно пролепетал я, – то есть да... То есть как это не помню. Мы жили на первом этаже... А как же Чистые пруды?»

«Ну, это было уже после меня. Это было зимой».

Я всё ещё не мог понять и спросил: «Как ты здесь очутилась?»

Ведь ты, хотел я сказать, лежала в постели. Днём все на работе, в пустой коммунальной квартире, никого, кроме нас, нет. Ты была больна, ты всегда лежала в постели. А я сидел на полу. Вокруг меня виселись вещи. В этой комнате, которая казалась мне очень большой, я был как в целом мире. Я в ушенье письменного стола, между тумбами. Я в убежище под обеденным столом, скатерть, свисающая складками по углам, как занавес, скрывает меня от всех. В эту минуту кто-то позвонил в дверь. Я вылез и побежал отворять.

Я становлюсь на цыпочки, чтобы дотянуться до английского замка. Тотчас парадная дверь распахивается, там стоит незнакомка, и мы оба уставились друг на друга. Удивительная, огненноглазая, в красном, в лиловом, канареечный платок съехал на затылок, у неё чёрные конские волосы и тёмное сморщенное лицо. Моя мама выбежала в коридор, босиком, в рубашке, зады-

хаясь, схватила меня за руку и захлопнула парадную дверь перед носом у сморщенной тётки.

«В чём дело?» – спросил я.

«Я испугалась. Мы были одни в квартире. Все говорили, что цыганки ходят по домам и воруют детей».

«Тебе, наверное, холодно, босиком, в одной рубашке. Тебе врач запретил вставать».

«Ничего, ничего...»

«Тебе надо в постель».

«Нет, – сказала она, улыбнулась и покачала головой, – не хочу больше».

«Ты выздоровела?»

«Пожалуй. Можно сказать и так. Вот этого, – добавила она, – ты действительно не помнишь».

«Ты, – пробормотал я, – ты... в этой посудине, за мраморной дощечкой? Это ужасно смешно».

«Смешно, но так принято».

«А что там написано?»

«Не знаю. Какое это имеет значение?»

Я согласился с ней, что это не так важно.

«Оставим это, – сказала она. Снова вошла сестра, они пошептались. – Я к тебе ненадолго».

Я ждал, что она меня приласкает, как когда-то, когда я расхаживал по комнате и подходил время от времени к ней. Мне даже казалось, – хоть я и понимал, что это чистая фантазия, – что я подбежал к ней с верёвочкой. «Обвяжи меня». Верёвочка была завязана вокруг пояса и крест-накрест, как ремни на гимнастёрке, сбоку висел карандаш, изображавший шпагу. Но она не шевелилась, молча и безразлично лежала на подушках, её глаза уставились в потолок, тонкие руки покоились поверх одеяла, впрочем, я ошибаюсь, она стояла рядом, молча, не сводила с меня печальных глаз и покачивала головой. Наконец, она прошептала:

«Вот я смотрю на тебя...»

«И что же?» – спросил я со страхом.

«Ты изменился».

И это всё, что ты мне можешь сказать, хотел я спросить и пожал плечами – пожал бы, если б мог.

«Из тебя ничего не вышло».

«То есть как?»

«Не знаю. Не вышло, вот и всё».

Эта фраза показалась мне обидной. Я смотрел на мою мать с ненавистью. Я понял, что это и была цель её прихода – уколоть меня напоследок, сделать мне больно.

Она сказала: «Ты был вся моя надежда. Ты казался мне необыкновенным ребёнком. Ты был похож на меня, а не на отца. А ведь я, что ни говори, была не совсем заурядной женщиной».

Да, думал я или хотел сказать. Ты писала стихи, рисовала, ты закончила консерваторию, ты тоже подавала большие надежды. Ну и что?

«Жизнь была тяжёлой, мы еле сводили концы с концами, а тут ещё эта болезнь. Я так и не оправилась после родов. Я уже не жила, я угасала. В сущности, это ты виноват в моей смерти».

«Выходит, я остался жить, а ты...»

«То, что я говорю, тебе никто не скажет. Ты никогда не был самим собой, вот в чём дело».

Чушь какая-то, бормотал я, что это значит – не был самим собой. А кем же?

Сестра вмешалась: «Не надо его волновать».

Я сказал: «Ты пришла меня упрекать. Ты хочешь отравить мне последние мгновения».

«Опомнись, – проговорила она мягко, – я и не думала. Дурачок. Ведь меня нет!»

И в самом деле, всё разъяснилось. Не на что было сесть. В наброшенном на плечи посетительском халате женщина, которую я не узнал, стояла возле моего ложа. Ты не хочешь меня по-

целовать, спросил я. Соня коснулась губами моего лба. По-моему, он... сказала она, повернувшись к сестре, которая стояла за стеклом. Мне стало смешно, если это так, хотел я сказать, то уж во всяком случае не для тебя.

«Я случайно узнала», – сказала она.

Мои губы зашевелились, что́, что ты хочешь сказать, прошептала она, нагнувшись вплотную к моему лицу, да, муж получил новое назначение, мы тут проездом.

«Дня на три», – добавила она, выпрямляясь.

Значит, подумал я – или сказал, – ты сможешь побывать на моих похоронах.

«Ты поправишься», – сказала она.

Я усмехнулся. Сестра за стеклом делала нам знаки, чтобы мы говорили потише. Придёт врач и даст нагоняй. Соня стояла передо мной в лёгком демисезонном пальто, держа посетительский халат в опустившейся руке, из расстёгнутого пальто выглядывало светлое платье, ничего похожего на ту, загорелую, с расцарапанными ногами, которая только что стояла возле качелей, заслоняя ладонью от солнца, и всё же это была Соня.

Я боялся, что она уйдёт; надо было что-то сказать; брякнул наугад: «Твой муж теперь, наверное, уже полковник».

Ответа не было. Не надо было об этом говорить.

«А помнишь, – спросил я, – как я тебя увидел, ты купалась ночью?»

«Купалась, когда?»

«Voici la nudité, le reste est vêtement»¹.

«Что это», – спросила она.

Я сказал: «Это такие стихи».

Она растерянно, приоткрыв рот, воззрилась на меня, вероятно, подумала – он бредит, все вы так думаете, хотел я сказать, её губы зашевелились, где это я купалась, о чём ты, бормотала она,

¹ Вот нагота, а прочее – одежда (*фр.* Ш. Пеги).

как будто сама сомневалась в том, что это она стоит возле меня, она, та самая Соня.

И, чтобы окончательно ей доказать, я сказал: «Перед войной. Вернее, накануне. То есть в тот самый день. А Натку помнишь?»

Я не зря упомянул моего двоюродного брата, мне мучительно захотелось узнать, правда ли, что у них было.

Какую Натку, спросили её губы, стало ясно, что она всё забыла, но я настаивал, мне хотелось ей объяснить, понимаешь, продолжал я, для тебя это было давно, а для меня... пожалуйста, постарайся, сделай над собой усилие, это не так уж трудно понять. У меня мало времени, но это только так считается, на самом деле для меня времени вообще больше не существует, то есть его нет в том смысле, как его обычно понимают... это верно, что мне осталось совсем немного, вероятно, несколько минут, но опять же всё зависит от того, какой смысл вкладывать в эти слова: несколько минут.

Я устал объяснять то, что, в сущности, не требовало объяснений. Но мне нужно было всё-таки знать.

«Скажи правду», – сказал я.

«Боже мой, – устало проговорила она и провела рукой по волосам, – какая тебе ещё нужна правда...»

«Ты их красишь?» – спросил я.

«Волосы? – Она усмехнулась. – Ты это и хотел узнать?»

«Это правда, что у вас тогда с Наткой?...»

Она смотрела на меня, вздыхала и качала головой.

«Бедный, милый... Совсем один. Теперь я вижу, что ты действительно очень болен. Позвать сестру?»

Её губы смыкались и снова шевелились, но я понимал все слова.

Но сестра и так не спускала с неё глаз и время от времени делала нетерпеливые знаки за стеклом. Разговор наш прервался, как мне казалось, в тот момент, когда нам надо было так много

сказать друг другу. Было невозможно предложить Соне подсесть ко мне, кровать слишком высокая. С ужасом, словно только сейчас заметила, открыв рот и качая головой, она поглядывала на все, что меня окружает, на мои исколотые руки, на аппаратуру. Всё-таки странная идея, пробормотал я, купаться ночью, одной. Между прочим, меня в детстве однажды вытащили из воды, это было на Чистых прудах, хочешь, расскажу? Я провалился под лёд.

Она молчала, смотрела на меня затуманенным взором, – что-то знакомое, сонно-туповатое было в сонинном лице, – и все покачивала головой. Дверь открылась, вошёл, прыгая на костылях, Натан. Я рассмеялся.

«Лёгко на помине!» – сказал я.

«Кто это?» – спросила Соня.

Натан сказал: «Побудь там пока. У нас мужской разговор».

Он был худ и острижен под ноль.

«Вот видишь, – сказал я, когда она вышла, – она тебя не узнала. Она тебя не помнит».

«А что она вообще помнит?!»

«Я как раз собирался спросить у неё...»

«Чего спрашивать, – сказал он презрительно, – конечно, было».

«Но она ничего такого не помнит!»

«Не хочет говорить, вот и всё».

Упавшим голосом я спросил, как же всё-таки.. как это произошло? Ведь мы оба едва успели свести с ней знакомство.

Мой двоюродный брат насмешливо взглянул на меня.

«Вот теперь я вижу. Ты действительно не того. Ведь я это всё выдумал; а ты поверил? Мальчишеское бахвальство. Но принайся: ты ведь тоже придумал, будто видел её в реке?»

Я ничего не ответил, мне не хотелось его разочаровывать. Я испытывал необыкновенное облегчение. Надо было переменить тему.

«Слушай-ка, что я хотел спросить... Ты... действительно?»

«Опять, – сказал он досадливо. – Меня уже спрашивали.

«Кто спрашивал?»

«Там... когда я пришёл. Откуда я такой явился... Да, да, да. Зато ты уцелел. Сумел-таки увильнуть!»

Я хотел возразить, что до меня просто не дошла очередь. Осенью меня бы призвали. Натка поглядел через плечо.

«Покурить охота. А?»

«Валяй, никто не видит».

Он извлёк кисет и зажигалку из болтающейся штанины.

«Так вот, значит... Обучение, то да сё. А какое там обучение, показали, как надо целиться, и пошёл. Я и воевать-то толком не успел, сразу попали в пекло. – Дежурная сестра появилась за стеклом, он уронил самокрутку и наступил на неё ногой. – Да чего вспоминать. А ты, значит, загибаешься?»

«Уже загнулся», – сказал я.

«Торопишься. К нам никогда не поздно».

«Значит, ты...»

«Так точно. – Он вытянулся и взял под козырёк, придерживая локтем костыль. – Пропал без вести, ваше высокоблагородие!»

На что я холодно возразил: «Отставить. Без пилотки честь не отдают».

«А между прочим, где я её оставил... Ты не знаешь?» – пробормотал он.

Я спросил: «Ты хочешь сказать – убит?»

«Не обязательно. Тут есть разные возможности. Много возможностей. Можно, конечно, сразу отдать концы, это во-первых».

Мы услышали дальний грохот, потом всё ближе.

«Громче! – простонал я. – Ничего не слышу».

Гром, свист.

«Я говорю, первая возможность! – орал Натан. – Мы уже в Кюстрине, до Берлина рукой подать. Двадцать армий, два с половиной миллиона, представляешь? Катюши, гранатомёты, дальнобойные орудия – триста стволов на каждый километр. Подвезли прожектора, я сам видел. Только вот ошибочка вышла, я тебе скажу».

«Тебя убили?»

«Да я не об этом. Мясник этот ошибся».

Я хотел спросить, какой мясник.

«Е...на мать, не знаешь, что ли! А, – он махнул рукой, – что вспоминать. Думал после артподготовки ослепить немцев прожекторами, и – за родину, за Сталина, с ходу займём высоты, а что получилось?»

Он раскашлялся, умолк, мы оба ждали, когда закончится адский свист и грохот.

«В общем, лежим, ждём. До рассвета ещё, наверно, часа три. Впереди у немцев сплошное зарево по всему горизонту, загорелись леса. Короче, всё застлало дымом, и фокус с прожекторами не вышел. Да ещё местность сплошное болото, топь, в канавах вода по брюхо, снег только успел стаять. Побежали вперёд, ура, со знаменем, а где тут побежишь. Техника вязнет, люди еле успевают вытаскивать ноги из грязи. Немцам только этого и надо. Немцы тоже ведь не дураки...»

Не может наговориться, подумал я. А времени в обрез.

«Где это было?» – спросил я.

«Я же говорю – Зеловские высоты. Зелов, есть такой. За Кюстрином километров двадцать. В общем, все там остались. Кроме тех, кто дальше шёл в наступление».

Меня беспокоила мысль: где Соня? Она могла не дожидаться и уйти. Ещё немного, встану и пойду её искать.

«...подорвался на mine или что там, плохо помню, пришел в себя, а не надо бы. Часа три промучался, никому до тебя дела нет, много вас таких. Сначала холодно, потом всё теплее, теплее,

и на небо. Шучу... Я, может, там так и остался, война кончилась, а я уже того, сгнил. Вот тебе одна возможность».

«Слушай, Натка, – сказал я. – Может, хватит об этом? Тебе ведь и самому, наверно, не так уж приятно вспоминать. Писем от тебя не было, это мне твоя мама рассказывала, похоронок тоже не было, ты пропал, что с тобой приключилось, никто не знает, ты не вернулся. Так что всё это, наверно, я сам и придумал, мне ведь тоже ничего не известно...»

«Чего придумывать-то, чего придумывать! Нет, ты постой, я ещё не договорил. Короче, я эту возможность не использовал. Подобрали-таки... Ампутация бедра в верхней трети, ничего не помогло, гангрену не остановили, напрасно трудились. Вот тебе вторая возможность. А кстати, – спросил Натан, – не знаешь, долго это ещё продолжалось?»

«Война? Но ты же...»

«Откуда мне знать, – сказал он. – А в общем-то мне всё равно!»

Я почувствовал, что вязну в какой-то путанице. На всякий случай я спросил: «А когда, собственно, это случилось?»

Человек в шинели крикнул вместо ответа, нагнулся, держась за составленные костыли, и подхватил с пола раздавленный окурочок.

«Случилось, и ладно. Могло быть хуже. Могло обе ноги оторвать. И яйца заодно. Хотя – зачем они мне? Всё дело в том... – бормотал он, разглядывая окурочок, извлёк кисет из выгоревших галифе, ссыпал остаток табака, сунул кисет обратно, – всё дело, говорю, весь философский смысл в том, что на каждом повороте появляются новые возможности».

«Да, но вероятность бывает разная».

«Что значит вероятность? Даже самая маленькая вероятность возьмёт да и сбудется, а невероятностей не бывает. Вот ты со мной споришь, а сам думаешь: встану и отправлюсь на поиски. Это, конечно, маловероятно в твоём положении. Но нельзя

сказать, что совсем уж невозможно. Слушай... а сколько сейчас времени, мне ведь тоже пора».

«Сейчас потушат свет, – сказал я, – только что прошёл десятичасовой поезд».

«Ну и, наконец, еще одна возможность, самый лучший выход».

Он наклонился, повис на костылях, сопел, дышал мне в лицо: «Молчи, – зашептал, – никому ни слова!» – и погрозил пальцем.

«Пропал без вести, понятно? Ничего тебе не понятно! Что это значит? Это значит, пропал и всё, оторвался с концами, и привет. И никто никогда не разыщет... а ты знаешь, сколько таких пропавших? Ничего ты не знаешь. Целое человечество в нашем веке пропало без вести. Ну, до скорого!»

Так, с поднятым пальцем, он и удалился, упрыгал прочь, и я остался в синем свете ночника наедине с моим бодрствующим мозгом. Меня снова поразила мысль о том, что едва только я начинаю прозревать, едва начинаю различать подлинную действительность и, кажется, вот-вот подберу ключ к моей жизни, к этой шифровке, – как приближается последняя минута моего существования. Как будто это и есть условие, на котором мне дают шанс понять, для чего я жил, что означала моя жизнь.

«Соня, – пробормотал я, – твоё явление чудесно, невероятно, оно напоминает мне ночь, когда я сидел на песке и прислушивался: вот-вот плеснёт вода, всплывёт русалка, покажутся её плечи и грудь в лунной чешуе. И ещё встаёт перед глазами озеро... Помнишь ли ты или уже забыла наши места, заболоченную тайгу?»

«Сказка, легенда. Не было никакого озера».

«Для кого легенда, а для кого... Сейчас я тебе покажу, мне всё равно пора вставать...»

«Ради Бога... сестра увидит...»

«Не увидит. Можешь не волноваться».

«У меня будут неприятности».

«Ну, как хочешь», – я пожал плечами.

«Я уж собралась на вокзал, – сказала она, – что он тебе тут наговорил?»

«Болтовня, бред, не стоит об этом. Между прочим, он тебя хорошо помнит...»

«Меня, откуда?»

«Помнит, и как мы на качелях качались, помнит. Хрен с ним, забудем об этом. Главное, мне посчастливилось его найти».

«Кого найти?»

«Не кого, а что. Озеро, всё в камышах... я его видел своими глазами. Ты не поверила, пока сама не убедилась».

Да, но ведь это было потом, прошелестели ее губы.

«Что значит потом?»

Позже, раньше, какая разница, хотелось мне возразить, ты, дорогая, барахтаешься в тенётах грамматики. Для тебя все это непреодолимо... А для меня существует одно только вечное настоящее. *Я есть истина.*

«Ты бредишь. Нет, ты не бредишь, ты умираешь. Я сейчас позову сестру и скажу, что ты умираешь».

«Возможно; впрочем, не совсем».

Я хотел сказать, что у меня ещё остается немного времени – то есть, конечно, в том смысле, как она понимает это выражение: немного времени.

«К твоему сведению, это был Натка», – сказал я.

«А! вспоминаю».

«Между прочим, он мне наврал, он сказал, что у тебя с ним кое-что было».

«Что было?»

Я показал, сложил два пальца колечком.

«И луг сверкал синими брильянтами. Скажи... это действительно враньё?»

«Фу. Как тебе только не стыдно».

«Но он бегал за тобой».

«Что значит бегал?»

«Это было такое словечко. Был влюблён в тебя».

Мало ли кто был влюблён – она пожимает плечами.

Помнит ли она ту минуту, когда она отперла замок и сняла железную перекладину, отперла дверь ключом, но не сразу вошла в магазин, стояла на крыльце?

«Помню», – сказала Соня.

«И сделала вид, что меня не узнала?»

«Как я могла узнать, через столько лет...»

«Не так уж много».

«Да, но...»

«Конечно, в телогрейке, острижен под нулёвку, где меня узнать...»

«Это судьба».

Я вздохнул. При моём сравнительно небольшом сроке, протрубив половину, можно было надеяться, что меня расконвоируют. У большинства двадцать пять лет, бывшие военнопленные, изменники родины, попади, например, в плен мой двоюродный брат Натан. Он бы из немецкого лагеря загремел в наш лагерь. Если бы остался жив, если бы не узнали, что он наполовину еврей, если бы дотянул до конца войны, он бы тоже схватил четвертной. А я? Мне вообще, Соня (хотел я сказать) всю жизнь везло. Меня не успели убить на войне. В лагере у меня был маленький срок – по сравнению с большинством. На каждом ОЛПе надобность в бесконвойных велика, – хозвозчики, пожарники, сторожа, мало ли всяких работ, но кому я рассказываю, ты сама прекрасно знаешь.

Развод кончился, оркестр – у нас был оркестр из заключённых – умолк, бригады потопали в оцепление, бесконвойные ждут перед вахтой, рыл десять от силы на весь лагпункт, я же говорю, у большинства – четвертной.

Показываешь в окошко пропуск, гремит засов на вахте, и выходишь – свободный человек! За спиной у тебя ворота с флажками и лозунгом, вышка над вахтой, столбы с проволокой, запретная полоса, древнерусский тын из высоких толстых жердей, сверху наклонённые внутрь ряды колючей проволоки, лампы наружного освещения, и над всем этим вышки с прожекторами, всё позади, – иди, никто не остановит, куда хочешь – с той лишь оговоркой, что не захочешь. И, однако же, побывав на разных должностях, и возчиком, и в бане для вольняшек, и ночным дровоколом на электростанции, и сторожем на лесоскладе в дальнем оцеплении, я ухитрился ночью ходить за сколько-то километров в деревню, там у меня была одна...

«Это ещё кто?»

«Так... одна».

«Ты мне об этом не рассказывал».

«На подсочке работала».

«Что это?»

«Там был химлесхоз. Делали такие насечки на сосне и собирали смолу».

«Дальше».

«Что дальше?»

«Рассказывай дальше».

«Ах, Соня, к чему это? Будем считать, что этого не было».

«Но это было...»

«Что я хотел сказать... О тебе... Муж начальник лагпункта, не кол собачий».

«Не надо так».

«Удельный князь с дружиной».

«И вообще не надо об этом».

«Его перевели к нам на север, пятое отделение Белый Лух – Поеж – Лапшанга, когда это было?»

«Не помню. Не хочу вспоминать».

«Надо же было встретиться».

«Это была судьба».

Тишина, синий свет ночника. Только что простучал во тьме десятичасовой поезд.

«Вот именно, Сонечка. Лагерное существование, как тебе объяснить. Это дело обыкновенное, образ жизни русского человека, лагерь – это судьба, а что, собственно, означает это слово? Обыкновенную жизнь. Рассказать жизнь невозможно. Так и лагерь рассказать невозможно. Надо же было выйти за такого человека замуж».

«Я его любила...»

«Где он тебя подцепил, можно спросить?»

«Наш дом в войну сгорел».

«Дача?»

«Когда немцы подходили, всё вокруг горело, весь посёлок. Наши, когда отступали, подожгли».

«И качели сгорели?»

«Не знаю; наверно. Мы когда вернулись, не было ни кола ни двора. Поселили нас в бараке, и то благодаря тому, что отчим инвалид Отечественной войны... Моя мама вышла за него в эвакуации. Он приехал без ног».

«Да, но ты-то, ты...»

«Где с мужем познакомилась? В клубе на танцах. Он говорил, что он в командировке. Потом стали встречаться». «Он тебе сказал, что он в этой системе?»

«Он говорил, что он на секретном объекте. Я девчонка была. Меня это всё очень интриговало. И вообще, такой видный из себя. Потом сказал... когда уже мы расписались. Я говорю, чего ж ты от меня скрывал. Не имел права, государственная тайна, сама должна понимать. Тебе тоже придётся заполнить анкету. Подписку дать о неразглашении...»

«А о том, чтобы не вступать в связь с заключённым, ты тоже давала подписку?.. Извини», – сказал я, и мы оба умолкли.

Она смотрела куда-то мимо меня, мой двоюродный брат сидел на качельной доске, мы оба были влюблены по уши, и он, конечно, слышал мои слова и хотел отомстить мне за то, что я увидел её ночью, хвастался своим умением метать нож и сказал, что мог бы вызвать меня на дуэль.

А всё-таки, думал я, мне тогда показалось... когда ты стояла на крыльце.

«Что я тебя узнала?»

Я мигнул в ответ, я лежу и говорю с ней глазами, потому что от меня уже почти ничего не осталось. Но зато я кое-что начинаю постигать. Ключ к шифру жизни, Соня, вручается тому, от которого ничего уже не осталось. Нужно добраться до конца, до обрыва, как я тогда, перед тем как увидеть тебя в воде, и обретёшь истину. Развод кончился, колонны рабов отправились на работу, была ледяная весна, солнце успело взойти, наше жёлтое, таёжное солнце, точно так же оно блестело сквозь пелену облаков, когда татары добрались до Китежа и ничего не увидели, кроме озёрной глади в камышах. Я стоял перед запертыми воротами со своим возом-ларём на двух лесовозных вагонках, соединённых цепями, с кольями по бокам, чтобы не дать ящику соскользнуть, с двумя парами колёс с обеих сторон, и колёса катятся по деревянным лежням, как по рельсам. Лежни проложены из зоны за ворота и там расходятся по сторонам.

Нормальная жизнь, Соня, далёкий год, единственный, как на Сатурне, где год равен тридцати земным годам. И кто знал, что так получится? Судьба велела тебе выйти замуж за лагерного офицера, судьба сделала меня бесконвойным. Вахтёр в изжёванном картузе, в ватной телогрейке, в армейских травянистых галифе и гремучих сапожищах, сошёл с крыльца, отворил дверцы ящика, осмотрел полки, нет ли чего лишнего, буханки, ещё тёплые, пахучие, лежали в три ряда, я возил хлеб в магазин для вольнонаёмных из пекарни, которая находилась в зоне. Вахтёр захлопнул дверцы и пошёл открывать створы ворот. И солдат—

азербайджанец пел тягучую песню на вышке, над крышей вахты. Лошадь дёрнулась, закивала головой, завизжали колёса. Выехали и повернули налево, мимо домика вахты. И дальше, вдоль тына, минуя угловую вышку, к посёлку сил и начальств, там же где-то и терем князя, помнит ли она это утро, спросил я.

Ещё бы не помнить.

Воз подкатил к магазину. Напротив будка ночного сторожа, там лежит овчинный тулуп, превратившийся в руину, я дремал там, скорчившись на полу, вылезал наружу, расхаживал под звёздным небом, заходил погреться в пожарку, где огромный рукастый мужик по имени Дуля, западный украинец, жарил в печке колбасу из крови и требухи, дар начальства, для которого Дуля делал настоящие колбасы из мяса.

Магазином заведовала, и она же была продавщицей, злобная тётка, жена оперуполномоченного, иной жены у него и не могло быть. И казалось мне, я уже слышу её жирный голос, она командовала, расставив ноги и сложив руки под огромной грудью. Вот бы цапнуть за эту грудь, что бы она запела? Лошадь стояла, понурившись, в оглоблях, которые подцеплялись к крюкам на передней вагонке, дверцы хлебного ящика были распахнуты, с горкой буханок на руках я повернулся, чтобы нести в магазин. Но никакой жены уполномоченного не было, на крыльце стояла ты, и точно так же, как в реке, облитой лунным оловом, точно так и тем же самым жестом, когда ты высматривала кого-то, заслонясь ладонью, утром в день солнцестояния, возле качелей, так и теперь ты смотрела из-под руки, ты посторонилась, пропуская меня с буханками, и не взглянула на меня. Я поехал назад, распряг лошадь и отвёл в конюшню, брёл в зону, к своему барaku, никого не видя, ничего не слыша, вошёл в секцию и повалился на нары. Я знал, что на крыльце стояла ты.

«Ты в самом деле меня не узнала?»

«Ты уже спрашивал».

«Я ещё хочу тебя спросить, мне это очень важно... ведь он тогда врал, когда говорил, что у него с тобой было?.. Ага, – вскричал я, – значит, ты всё помнишь. И озеро помнишь?»

«Не было там никаких озёр. Это всё легенда, – сказала Соня и оглянулась на дежурную сестру, которая стояла за стеклом моего бокса и делала нетерпеливые знаки. – Сейчас... две минуты», – пробормотала она с мольбой, с досадой. И, как всегда бывает, когда срочно надо что-то договорить, мы умолкли.

«Итак?» – спросила она или вообще кто-то.

Я вздохнул, лучше сказать – перевёл дух. Итак, я подъехал. Бросил возжи на спину лошади, открыл дверцы ящика и стал выгружать хлеб. Одна буханка упала на землю. Я ждал окрика – жирный голос жены оперуполномоченного раздался. Я дорожил своим местом. Зимой, в лютый мороз, когда двухметровые берёзовые плахи колятся, как орехи, я работал ночным дровоколом на электростанции, там со мной кое-что случилось, я провалялся сколько-то времени на больничном лагпункте Керженец, а вернувшись, был признан негодным, на электростанции вкалывал другой. Я качал воду и топил баню для вольнонаёмных. Я был ночным сторожем на лесоскладе в сто первом квартале, от лагпункта километров десять; сплошь болото, идти можно только с палкой по лежнёвке. Теперь я сторожил возле магазина и возил по утрам из пекарни хлеб для вольняшек. Завпекарней был уголовник, важная птица, он и мне иногда давал что-нибудь.

«Можешь мне не рассказывать».

А я ему за это – с риском, само собой, – проносил кое-что из-за зоны: цыбик чаю для чифиря, пачку духовитого мыла, одеколон выпить. Вся жизнь, если хочешь знать, устроена по лагерному образцу, лагерное существование есть нормальный образ жизни, я знал людей, которые страшились конца срока, с тревогой ждали освобождения. Я знал разных людей, Соня. Буханка упала, я поспешно подобрал, никакого окрика не последовало,

не было больше жены уполномоченного, на крыльце магазина стояла ты. Что это за шум, спросил я.

«Это аппарат, он дышит вместо тебя».

А... ну пусть дышит. Нет, лучше пусть уберут, мешает говорить. В общем, будем считать, что мы друг друга не узнали. И ничего бы не было, если бы не эта случайность... этот щит.

«Это была судьба. Ничего бы не случилось, если бы не судьба».

«Но судьба – это и есть истина, ты как считаешь?..»

Загрел засов на вахте. Это было такое устройство, чрезвычайно практичное, в лагере вообще было много изобретений, лагерь сам – гениальное изобретение. Не надо каждый раз выходить и проверять, кто идёт. Надзиратель смотрит в окошечко, показываешь пропуск. У него там рычаг, он нажимает, засов отодвигается. Магазин работает до восьми, а время – начало девятого. Она выходит на крыльцо, машет рукой, начальственным жестом, чтобы я помог ей навесить щит. Я человек крепостной, у нас крепостное право, мы все крепостные. Что велят, то и делаем. Щит из сколоченных досок прислонён к окошку, она берётся с одной стороны, я с другой, нет, говорю я, отойдите, поднял и поставил щит на подоконник, теперь брус, я держу щит, она просовывает в скобы деревянный брус, который удерживает щит, мы стоим рядом, в магазине полутемно, мы стоим рядом и не смотрим друг на друга, дверь закрыта, если кто подойдёт, шаги будут слышны на крыльце, и действительно, кто-то подходит, опоздавшая покупательница или кто-там, сейчас заметит, что железная перекладина висит рядом с дверью, значит, магазин ещё не закрылся, мы стоим рядом, судьба спасает нас, шаги удаляются, щит закрыл окошко, темно, и я обнял тебя, Соня.

Я видел тебя ночью, в лунной чешуе, ты поднялась и шла к берегу, и вода постепенно опускалась вокруг тебя, ты меня не заметила, и наутро твоя нагота вновь окуталась тайной.

Она вырвалась. Несколько мгновений она стояла, глядя в пол, медленно подняла голову и вздохнула, словно нам обоим предстояло выполнить тяжёлый долг.

«Как тебе не стыдно...» – проговорила она и покосилась на дежурную сестру, но сестра, на наше счастье, исчезла.

«Ангел смерти», – усмехнувшись, сказал я.

«Как тебе не стыдно, ты же мужчина. Ты не сдвинулся с места... ты хотел, чтобы я первая».

«Я заключённый, Соня. А ты была начальница. Да ещё какая: жена князя».

«Перестань... почему ты называешь его князем?»

«Потому что я смерд».

«Я заперла дверь на ключ. Почему ты медлишь?»

«Потому что я тебя люблю».

«Этого не может быть. С тех самых пор?»

«Здесь темно, но я тебя вижу».

«Что ты видишь?»

«Я вижу тебя всю. Ты такая же».

«Если бы ты вошёл в воду...»

«Я боюсь воды. Меня однажды вытащили из проруби».

«Если бы ты меня подождал».

«У меня оставалось мало времени».

«Теперь мы будем вместе».

«А как же твой муж?»

«Никак, – сказала она. – Муж одно, а ты другое».

«Муж – это муж», – сказал я.

«Я буду тебя ждать. Когда ты освободишься, я с ним разведусь».

«А до тех пор?»

«А до тех пор так и будет».

«Ты часто с ним спишь?»

«Иногда».

«Ты его любишь до сих пор?»

«Не знаю. Так, как с тобой, у меня с ним никогда не было».

«Но ведь ты что-то чувствуешь, когда ты с ним?»

«Чувствую. Я же не колода».

«Тебе бывает приятно?»

«Иногда приятно»

«Он пьёт?»

«Все пьют. Ну и что?»

«А то, что меня не никогда не освободят, вот что».

«Почему это?»

«Потому что у меня такая статья. Кончится срок, его про-
длят автоматически. Или в ссылку».

«Куда?»

«Почём я знаю. Далеко».

«Я к тебе приеду».

«В ссылке ещё хуже, чем в лагере».

«Зато будем вместе».

Мы всегда вместе, хотел я сказать. Мы там так и останемся. Где там? – прошелестели её губы. Магазин состоял из двух комнат. Во второй помещался склад. Мы устроили там ложе из ящиков. Каждое утро я разгружал хлеб. Покупательницы стояли и ждали. Все тебе завидовали. И твоему месту, и то, что ты жена князя. Он был капитаном, теперь, наверное, полковник? Нет, сказала она, после той истории повышение откладывали несколько раз. Нас перевели на другой лагпункт. А потом он и вовсе ушёл из этой системы. Из этой системы не уйдёшь, хотелось мне возразить. Эта система вечная. Кто там побывал, даже если удалось ускользнуть – вернётся. Всё равно, кто он: князь или смерд. Как смерч, неслась по зоне весть о том, что капитан обходит свои владения. Лазает по баракам, как это называлось, – после развода, после того, как нарядчик обнюхает секции, отловит отказников, когда дневальные в пустых секциях принимались за уборку. Капитан вошёл, с ним помпобыт и два надзирателя. Дневальный с шваброй, навтыяжку. А это кто там? На

верхних нарах в углу. Это я, Соня, лежу, притворившись спящим, потому что с начальством лучше не связываться. Ты думаешь, я лежу здесь в боксе на функциональной кровати, но ведь кровать – те же нары, в некотором смысле. Я лежу и слышу пропитый голос капитана, и знаю, что он сегодня ночью с тобой спал, но он не знает, что накануне вечером ты принадлежала мне. Ночной сторож, отвечает помпопыт. Почему не в секции для бесконвойных? Гремят сапоги, капитан со свитой покидает секцию. Раз в неделю я ездил на станцию Поеж за продуктами. Наше княжество самое северное. От нас до комендантского лагпункта ехать в теплушке полсуток. Когда затеялось дело – когда всё это открылось, меня везли в теплушке, и я просидел в тюрьме месяц. Мне добавили срок и отправили на штрафной, на самые тяжёлые работы. До этого сидел в изоляторе у нас на лагпункте, пока опер-кум трудился над оформлением дела, для него это была находка, он давно копал под капитана. Потом повезли, как обезьяну в клетке, на комендантский. Это только так называется – теплушка, на самом деле стучишь зубами от холода всю ночь. Конвой сидит в тамбуре, там у них железная печка. Наше пятое лаготделение в керженецких лесах. Лагерь движется всё дальше, год на Сатурне тянется тридцать лет, лагерь вгрызается в тайгу, оставляет после себя заброшенные насыпи железнодорожных усов, полусгнившие штабеля невывезенного леса, кладбища полуобгорелых пней, пустыню чёрного праха. И сколько ни истребляли лес, ни до какого озера не добрались. Легенда, бред твоего угасающего сознания. Ты наедине со своим сознанием, как тот, кто склонился над своим отражением в воде.

«Однако орудыныцы его нашли, – сказал я. – Надо уметь искать».

Нет там ни лежнёвок, ни гатей, и конём туда не проедешь, только лазутчики, знавшие эти места, видели чудный город, и следом за ними, сперва по Керженцу на узких лодчонках, потом всё дальше уходя от реки в таёжную глубь и тьму, хлюпая

в болоте, обходя трясины, под тучами мошкары отряд монголов, сорок воинов, молча, тайно продирался через подлесок. И вдруг увидали просвет, голубое небо, и вот оно, серебряное, лазоревое, недвижимое – чудное озеро Светлояр, тёмное у берегов от леса, поднявшегося со дна. Но на самом деле это не лес на дне, а лишь отражение берегов. А где же Китеж? Лазутчики разводят руками.

Она сказала: «Это всё Ферапонтиха».

«Верно, Соня. Я совсем забыл, что фамилия оперуполномоченного была Ферапонтов. И забыл про жирную тётку. От которой, между прочим, мне житья не было... Откуда ты знаешь?»

«Знаю. Это она пронюхала. Она до меня заведовала магазином. Мы не будем открывать».

«Да. Мы не будем открывать».

«Пускай ломают дверь».

«Пускай. Тебе надо одеться».

«Они ушли».

«Пошли за ломом».

«За отмычкой. У лейтенанта есть отмычка. Может, тебе выйти? Потихонечку. Я сейчас открою».

«А ты?»

«Что-нибудь наплету. Выходи скорей, пока их нет».

«Бесполезно. Они же видели – сторожка пуста».

«Они сейчас вернутся. Вот... переговариваются, слышишь? Я так и знала, я чувствовала. Представляешь себе, что будет. Заключённый, с женой начальника, ночью. Что они с тобой сделают?»

«Ничего».

«Что они с тобой сделают!»

«Да пускай хоть на куски режут. Я неуязвим, Соня. От меня уже ничего осталось, я свободен».

«Там никого нет. Милый, родной. Уходи».

«Соня, – проговорил я. – Это правда. Никакого Китежа нет, там одно пустынное озеро. Там тишина, там даже птиц не слышно. Но если прислушаться, кое-что услышишь. Соня, я знаю дорогу, мы обойдём трясины. Там такой густой ельник, что в трёх шагах ничего не видно, неба не видно. Но я знаю, как добраться. Ты увидишь, нет больше никакого Китежа, пропал Китеж. Мы с тобой сядем передохнуть и услышим. Это колокольный звон. Колокола бьют, и вода чуть-чуть колеблется, ты сама увидишь, если присмотреться. Соня, мы с тобой уйдём, и никто нас никогда не разыщет. И будет считаться, что мы с тобой пропали без вести. Я боялся воды, меня когда-то вытащили из проруби, но теперь я больше не боюсь, и даже хорошо, что я не умею плавать. Я возьму тебя за руку и скажу: вставай, пошли. А как же, ты спросишь, прямо так, в одежде? Конечно. Вот так, взявшись за руки, здесь дно сначала мелкое. И никто нас больше не увидит. Пусть хоть целый взвод с собаками пойдёт по следу, пусть оцепят всё княжество. Пускай объявят всесоюзный розыск, намто что. Мы пропадём без вести! Уйдём за тридевять земель от этой Ферапонтихи, и от кума, и от князя, и от вышек с прожекторами, от всей этой гнусной жизни и Богом проклятой страны уйдём прочь, они продерутся сквозь чащу, выскочат на берег с псами, с автоматами, сами как псы, – а нас, ха-ха! Ищи, свищи».

«Бегите за врачом, – сказала она. – По-моему, он умер».

«МЫ ЖИВЕМ НА РАЗНЫХ ПЛАНЕТАХ»

Борис Хазанов – писатель загадочный.

Загадочна его авторская судьба. Один из лучших современных прозаиков, широкой публике он известен мало. Притом, что биография (а это до недавнего времени ценилось превыше текстов) у него самая образцовая. Срок и лагерь в сталинские годы. Публикации в Сам- и Тамиздате в годы 70–80-е. Арест и исчезновение в гэбешных архивах романа «Антивремя», следствием чего стал настоящий писательский подвиг: Борис Хазанов сел тогда за письменный стол и написал книгу снова – от первой до последней строки. Наконец, с 1982 года он живет в эмиграции, в Мюнхене, что также до недавних пор благоприятствовало славе.

А вот – малоизвестен. До такой степени, что главный редактор одного глянцевого журнала, сгнувшегося еще до дефолта, хлопал, помнится, пушистыми ресницами и все допытывался у подчиненных: а что, Геннадий Хазанов (артист эстрады) теперь прозу начал писать?..

Борис Хазанов – это псевдоним. Зовут моего собеседника Геннадий Файбусович. Ему 71 год. Он тонкий, ироничный, пожилой, насмешливый, очень несуетливый человек. Он из тех, кто сам выбирает себе читателя, отсекая лишних и ненужных.

Интервью с Борисом Хазановым для «Нового времени» 2006 года.

Предмет его писательских размышлений – душа человека, память, любовь, смерть. Последний роман Б. Хазанова «Далекое зрелище лесов», опубликованный недавно в «Знамени», пользуется прочным, негромким успехом.

В его мюнхенской квартире на первом этаже тихо, уютно, легко. Сидим на кухне, по московскому обычаю. Хозяин пьет вино каплями, как лекарство, но гостя потчует от души. Разговор идет о вещах серьезных, спорных, безысходных. С каждым часом сердечность общения увеличивается.

– Складывается впечатление, что вы здесь, в Мюнхене, дома.

– Пожалуй. Видите ли, есть одно важное обстоятельство, которое способствует созданию нового дома. Я говорю о бездомности. В России жилось не слишком уютно, но все же минимум необходимых условий для жизни у меня был: квартира, книги. Я лишился всего. По крайней мере могу сказать, что здесь чувствую себя лучше, чем в Москве, куда приезжаю изредка. Да мне там и жить негде. В буквальном смысле слова.

– А если бы осталась квартира?

– Сейчас мне, конечно, политические репрессии в Москве не грозят. Хотя должен вам сказать: если бы у меня в кармане не лежал немецкий Personalausweis, я бы туда не сунулся.

– Почему?

– Возможно, это предрассудок, суеверие, остатки неизжитого прошлого. Но я знаю, что в архивах госбезопасности хранится на меня досье. Да и вообще, если бы я не был иностранным гражданином, то любой столичный милиционер мог бы сделать со мной все, что ему заблагорассудится. Конечно, тот факт, что я могу свободно, хоть и с некоторыми неприятностями, получить визу в российском консульстве, съездить в Москву и вер-

нуться, – сам по себе говорит о колоссальных переменах, происшедших в России. И все же...

– *Раньше принято было спрашивать эмигрантов: не жалеете ли, что покинули Родину? Сейчас, наверное, уместнее другой вопрос: не радуется ли, что довелось уехать?*

– Все это, знаете, уже ушло в прошлое. Я ни минуты, никогда не жалел о том, что пришлось эмигрировать. Хотя в своей семье был последним, кто принял это решение. Жена настаивала на отъезде, а я страшился... Но уехал, жалея лишь о друзьях и о книгах, которые пришлось оставить. Тем более, что советские чиновники в те годы гадили напоследок с такой яростью, что тоска по родине умирала еще до отъезда.

– *Вы в Москве себя чувствуете иностранцем?*

– Нет, конечно, ведь я говорю по-русски и нахожусь в городе, который знаю с детства. Но я чувствую себя гостем, чужим человеком. Я отвык от московского образа жизни. У меня появилось множество стереотипов, принадлежащих жизни западного человека. Поэтому я не всегда могу найти общий язык даже с близкими людьми. Вернее, пока речь идет о прошлом, – тут все хорошо. Но едва мы заговариваем о событиях или обстоятельствах последнего времени, то выясняется, что мы живем... на разных планетах.

– *Вы спорите, ссоритесь со своими старыми друзьями?*

– Не-ет. Все наши встречи очень сердечны, словно вчера расстались. Но дело в том, что расстояние, расщелина, между Россией и Западной Европой по-прежнему столь велики, что это не может не сказываться. Я приезжаю в страну, которая в течение многих десятилетий была закрытой, – и не только снаружи, но и изнутри, в душах. Не так-то просто преодолеть эту отторгнутость.

– *Вдруг становится не о чем говорить?*

– И так тоже бывает. Ваш собеседник думает: «Ну, о чем с ним беседовать? Он долго тут не был, не пережил, не испы-

тал...» А человеку, приехавшему из-за кордона, кажется, что старые друзья закоснели в старых представлениях, что он очутился в какой-то огромной провинции, отставшей от остального мира. И оба мы правы и не правы. Коллизия тут, скорее, психологическая... Вот потому я и чувствую себя гостем. А чем гость отличается от хозяина? Он посидит и уйдет, правда? *(Смеется)*

– С другой стороны, Германия – одна из немногих западных стран, куда еще пускают на постоянное жительство нашего человека. Сюда приезжают немцы, евреи. С новыми эмигрантами вы часто сталкиваетесь?

– Нечасто. Я вообще веду довольно замкнутый образ жизни, и так было всегда. Кроме того, я не уверен, что мое общество могло бы быть для них интересным. Но иногда ко мне обращаются за советами. Я стараюсь помочь.

– Что вы советуете?

– Нельзя научить человека жить в чужой стране. Как нельзя передать писательский опыт... Ну, я советую не замыкаться в собственной эмигрантской скорлупе. Сводить знакомство с немцами, изучать язык. Несчастье всех эмигрантов, особенно русских, всех наших четырех «волн» состоит именно в том, что мы замыкаемся в себе, инкапсулируемся. Иногда это делается сознательно, из патриотических или иных идейных соображений. А чаще происходит по естественным причинам: люди тянутся друг к другу, заграничный мир им кажется чужим... Для детей такой проблемы не существует.

– Насколько я знаю, вам было проще: вы знали немецкий язык.

– Да, но я тоже российский человек, никогда в жизни до эмиграции не бывавший за границей. Долго привыкал...

– К чему привыкнуть труднее всего?

– Законом эмиграции является социальное понижение. С этим почти всегда тяжело мириться. Музиль очень точно сказал: представьте себе буйвола, у которого остались только шиш-

ки от рогов, или человека, который носит шляпу и рассказывает всем, что когда-то носил корону. А ему никто не верит!

– Вас никогда не мучил такой вопрос: немцы осуществляли геноцид еврейского народа, и вот я, бывший советский еврей, русский писатель, эмигрировал именно в Германию, да еще не куда-нибудь, а в Мюнхен, откуда вся эта зараза и пошла?

– Видите ли, какая вещь... Я в России очень интересовался историей национал-социализма. Мне довольно рано, еще когда я был подростком, бросилось в глаза поразительное сходство между сталинским режимом и гитлеровским. Но если в России интерес к собственному отвратительному прошлому у людей как-то угас, то здесь дня не проходит, чтобы телевидение, радио, газеты не напоминали вам об этом. Выходят книги, устраиваются выставки...

– Я знаю. Но речь не о Германии...

– Да-да, вы задали мне личный вопрос. Так вот, особых психологических неудобств я здесь не испытываю. По разным причинам. Это связано и с моим воспитанием: я вырос с немецкой поэзией, музыкой, философией... Представьте себе, после войны все книжные магазины Москвы были набиты награбленной «трофейной» литературой; это были лучшие классические издания. Я их покупал, очень задешево. И для меня понятия «немец» и «нацист» были весьма дифференцированы. Кроме того, эти двенадцать гитлеровских лет, – лишь крошечный отрезок в огромной истории Германии. Ну и, наконец, все худшее, что только можно сказать о Гитлере и фашизме, я услышал здесь, на этой земле. Понимаете, сменилось два поколения, Германия превратилась в самую мощную европейскую демократию, широко раскрывшую двери для беженцев, для преследуемых со всего мира. И я благодарен этой стране за то, что она дала мне приют.

– Случалось, что знакомые немцы, узнав, что вы еврей, начинали относиться к вам с особенной, виноватой чуткостью?

– Бывало. Но чаще помогали просто так, по неведомым мне причинам. Учтите также, что Германия – это государство традиционной, старой, цветущей бюрократии, то и дело вас просят заполнить какую-нибудь анкету. Так вот, ни в одном из многочисленных документов, какие мне приходилось заполнять, не было вопроса о моей национальности. Да и никого из чиновников никогда это не интересовало и не заинтересует. Хотя бы потому, что такой графы нет!

– *Вы однажды написали, что «изгнание – это судьба.» По контексту судя, можно понять, что вам на роду написано было стать изгнанником. В самом деле?*

– Я бы не возражал против такой интерпретации. Вообще говоря, каждому еврею на роду написано быть скитальцем, а если не ему, то его предкам или потомкам. Я, кстати, предполагаю, что мои предки жили когда-то в Германии, да и ваши, Илья, если судить по фамилии... Но есть и другое обстоятельство. Как-то так получилось, что я был не очень-то своим в своей стране. И я это хорошо чувствовал. Не только потому, что родился евреем, но и в силу моих интересов, убеждений, привычек. Лет с 14 я проникся отвращением к советскому режиму, а в юности, как известно, очень трудно скрывать свои чувства... Презрение касалось не только вождей и государственного строя, но и, например, всей советской литературы, которую я вообще не читал. Такой человек, как я, должен был уехать.

– *Что такое «судьба», Геннадий Моисеевич?*

– Судьба? Это, видите ли, такое понятие, которое напоминает эффект разглядывания звезды на ночном небе. Когда вы смотрите в упор на звезду, – она исчезает. Когда же вы слегка отводите в сторону взгляд, – она появляется на периферии зрения. Когда вы пытаетесь вплотную подойти к разгадке судьбы, то выясняется, что это слово ничего не означает. Но стоит вам перестать думать о значении этого понятия, как его смысл восстанавливается.

ливается. Это одно из тех слов, которые невозможно и не нужно уточнять. *(Смеется)*

– Судя по вашему последнему роману, понятие «Россия» схоже с понятием «судьба». Ваш герой, разглядывающий страну с близкого расстояния, обнаруживает, что это какой-то морок, наваждение, тяжкий сон... Вы и сами так думаете?

– Было бы абсурдно утверждать, что России нет, ведь ее легко найти на карте. Не может же быть, чтобы географические карты лгали! Нет, речь идет о художественном образе, который следует принимать с определенными оговорками. Мой герой оказывается в заброшенной деревне, которая существует как бы вне времени. За рекой живут мнимые помещики, по дорогам бродят, побираясь на выпивку, русские святые Борис и Глеб, в избу, где он живет, ломаются какие-то чекисты... То ли все эти люди заняты таинственной игрой, то ли они беглецы от жизни, как и мой герой, сбежавший от собственной жены; он писатель, мечтающий об уединении, но и сбежав, ничего путного написать не может... Впрочем, происходящее можно воспринимать и буквально. Жизнь всех персонажей как-то не задалась, как не задалась и российская судьба... Можно и так.

– Сейчас в России модно тосковать по брежневским «обморочным» временам, что легко понять: нынешняя жизнь слишком богата событиями. Вы уехали как раз в ту эпоху, и ту эпоху унесли с собой. Не скучаете по ней?

– Вот уж нет. Мне понятны чувства людей, живущих сейчас в России, но тосковать по этому гнусному времени – абсурд... или тяжкая болезнь памяти. Все нынешние беды оттуда, за них расплачивается страна, общество, народ. Это возмездие.

– Возмездие?

– Возмездие отличается от кары тем, что кара наступает негодяев, между тем как историческое возмездие обрушивается на всех – виновных и невиновных. Вот несчастное население и расплачивается за все десятилетия советского режима, в том числе

за тот последний его период, когда коммунизм разлагался на глазах и рушилась экономика. Ведь страна погибла... нет, не страна, Россия вообще не может погибнуть... государственный строй парадоксальным образом развалился не под ударом внешнего врага, а сам по себе. Его экономика достигла столь высокой степени абсурда, что трудно было понять, на чем она вообще держится. И преступность, и коррупция, и неменяемость политиков – это же все наследие тех лет!

– *Есть точка зрения, что брежневский строй был органичен для России, как соответствовала ей эпоха какого-нибудь сонного Алексея Михайловича или последние годы царствования Николая I. Морок накладывался на морок, и тихо было в стране... Конечно, старички из политбюро приворачивали (но не в тех, по-моему, размерах, в каких ворует сегодня средний чиновник), страна понемногу катилась в пропасть, однако ресурсов хватало, и весь этот застой мог тянуться еще долго, как бесконечен всякий бред.*

– Назвать «органичной» брежневскую эпоху можно только в том смысле, что она не возникла из воздуха, а была продолжением сталинской, хрущевской...

– *...николаевской, павловской, рюриковской...*

– Не будем впадать в крайности. Самодержавный строй, при всей его неприглядности, строился на иных началах, нежели коммунистический. Это была другая экономическая система. Мы склонны игнорировать экономическую составляющую... быть может, потому, что нам с детства надоел Карл Маркс. А между тем не зря, по-моему, говорят, что XX век был веком политики, а XXI-й станет веком экономики. Вот с экономикой этим людям, которых вы так ласково называете «старичками из политбюро», сильно не повезло. Между прочим, вы всерьез считаете, что застой мог тянуться бесконечно долго?

– *Если не ошибаюсь, князь Петр Вяземский сказал эту замечательную фразу: в России самодержавие означает, что все*

само собой держится, потому что если бы управлялось людьми, то давно бы развалилось. Что мы и наблюдаем.

– Да вспомните, что творилось в государстве, когда к власти пришел Горбачев! Вождям надо было хоть как-то кормить свой народ, приходилось ввозить продовольствие, а платить за него было нечем, не было валюты. Советский Союз к тому времени набрал огромные долги, которые были столь велики, что не выплачены до сих пор. Добавьте сюда непомерные расходы на фантастическую по своим размерам и дороговизне армию, на чудовищно разбухшую бюрократию, на целые этажи паразитических организаций, начиная с той же партии, – все эти расходы были настолько чудовищны, что падающее производство не могло за ними угнаться. СССР мало-помалу превращался в сырьевую страну, а нефть дешевела, уголь дешевел... Десятки миллионов людей, занятых на производстве в государственных учреждениях, в научных институтах, не умели и не желали работать, да и времени не было, – они стояли в очередях за колбасой... Вся экономика была полупарализована. Но лозунгом минувших лет были не реформы, а кем-то из холуев сказанная фраза: «Не будем огорчать нашего дорогого Леонида Ильича!»

– Вот я и говорю: доброе, хорошее было время. Неогорчительное.

– Понимаете, эти рассуждения об «органичности» беззакония и безделья совершенно неконструктивны. С ними нечего делать. Если я правильно понял ваши предположения, брежневщина вырастает из некоей древней, непоколебимой традиции. Ну, если это такая страна, которая от века сидит по уши в дерьме, и никто ее оттуда не может вытащить, тогда, конечно... Но тогда совсем труба.

– Странный такой парадокс. В имперской России писатель – это фигура значимая, вне зависимости от того, сидит ли он дома за письменным столом или в пермском лагере. Едва страна превращается в политического аутсайдера, как стано-

вится призраком и современная русская литература. Отчего так?

– Высокий престиж советского писателя – это не тот престиж, которому можно позавидовать.

– *Я имею в виду не только официальных писателей. А престиж Солженицына – где он теперь?*

– Да, конечно. В условиях, когда информация является таким же дефицитным товаром, как краковская колбаса, и распределяется только среди привилегированных, – в этих условиях поставщик информации становится важной фигурой. Ведь неподцензурную литературу, о которой вы сейчас говорите, ценили и любили главным образом за то, что она была источником запрещенных знаний. Эстетические вопросы, самые важные в искусстве, в подобных случаях отходят на задний план.

– *Разве? А вам не кажется, что писатели в те годы писали лучше?*

– Не кажется. Хотя бы потому, что многие тогдашние книги (я говорю о вещах весьма талантливых и популярных) стали сейчас нечитабельными. Я не хочу преуменьшать значение диссидентской литературы и уж тем более Солженицына 60–70-х годов, да и вообще меня коробит, когда в «шестидесятников» швыряют комья грязи, – но надо признать очевидное: это была литература ангажированная, политизированная, часто слишком идеологизированная... В условиях открытого общества такая литература выглядит устарелой.

– *Вы не согласны с тем, что сейчас качество русской литературы понизилось?*

– Об этом нам трудно судить... и, пожалуй, я с этим не согласен. Я не думаю, что современная литература находится в глубоком упадке. Появилось много новых имен. Немало талантливых писателей. Не могу сказать, что все они мне близки, – я принадлежу к другому поколению и работаю в иной манере, но это литература. Более того, читая нынешние журналы, я склонен даже

утверждать, что словесность российская процветает! В отличие, может быть, от литературной критики, которая действительно в полной ж...

– *Как бы там ни было, интерес к России на Западе вновь усилился. Ельцин с Примаковым – во всех сводках немецких новостей. Югославская война, плавно перетекающая в Третью мировую, – сюжет, интригующий публику... Вы следите за этими событиями?*

– Конечно. Но должен вас предупредить, что я дилетант в политике. Что касается России, то интерес к ней на моих глазах менялся много раз. И всегда это был интерес политический. Интерес к русской мысли на Западе вообще отсутствует; считается, что ее не существует. А есть великое классическое наследие, маркированное пятью-шестью именами, тем дело и ограничивается... Политический же интерес связан прежде всего с тем, что Россия – это огромная ядерная страна, находящаяся прямо под боком.

– *Недавнее, приписываемое Ельцину заявление о перенацеливании ракет на страны НАТО произвело здесь впечатление?*

– Это заявление не вызвало большого страха. Во-первых, оно не было принято всерьез. Во-вторых, советские инстанции его быстро дезавуировали...

– *Российские инстанции...*

– Да-да, русские, простите. *(Смеется)* Больше того, нынешнее направление западноевропейской дипломатии связано с попытками включить Россию в поиски решения югославского кризиса. То и дело политики говорят об этом. Да и вообще немцы привыкли расшаркиваться перед Россией.

– *Но, в общем, ситуация опасная, все больше напоминающая крутой боевик. Добрый, хороший западный человек, вооруженный бомбами и ракетами, терроризирует разных недобрых, нехороших людей, нарушающих права человека...*

– За вашими фразами нет реального содержания событий. Дело обстоит, по-моему, гораздо сложнее. Конечно, никто не может радоваться войне. Но что же было делать? Милошевич изгонял целый народ, сотни тысяч людей лишались своих домов, имущества, теряли близких, были обречены на голодную смерть... А если ничего не делать, то возникали новые страшные опасности: вовлечение в войну Македонии, за Македонией могла потянуться Греция – старый враг Македонии, за Грецией Турция – старый враг Греции, и пошло-поехало... Нельзя было равнодушно смотреть на это.

– *Разве гуманитарная катастрофа не усилилась после начала бомбардировок?*

– Кто вам сказал, что усилилась? Она продолжается, к несчастью. Расчет, вероятно, строился на том, что боеспособность сербской армии чрезвычайно снизится, экономика будет разрушена, и война закончится – капитуляцией либо свержением Милошевича.

– *Вовлечения России в эту войну вы не боитесь?*

– Если верить здешним комментаторам, то такой опасности нет. Конечно, все сразу вспоминают, что на Балканах началась Первая мировая война, то да се... но, с другой стороны, можно вспомнить, что в Боснии путем применения кулака, главным образом американского, удалось худо-бедно восстановить мир и спокойствие. Есть и другие соображения, которые в России почти не принимаются во внимание: огромные массы беженцев скоро растекутся по всей Европе, и это означает для Запада новые колоссальные траты. По-моему, от подобных забот у западных политиков куда больше голова болит, чем от того, куда там Ельцин свои ракеты перенацеливает. Надо сделать все, чтобы косовары смогли вернуться в свои дома...

– *А я думаю, что большинство из них и не вернется. Кто же в здравом уме захочет возвращаться на пепелища? Замысел Милошевича удался.*

– Ну, почему же? Жители Хорватии, Боснии и Герцеговины в значительной мере вернулись. Косовские албанцы тоже деревенские жители, у которых на родине остались дома...

– *Сожжены дома.*

– Ну, придется Западу раскошелиться, помочь, заняться строительством.

– *Представьте, Геннадий Моисеевич, что вам, году эдак в 91-м, предложили бы вернуться в Москву, дали бы квартиру, пообещали никогда больше не вламываться в нее с обыском...*

– Никакого сравнения. Я был политическим эмигрантом, получившим убежище в Германии. А здесь речь идет по большей части о крестьянах, изгнанных не за свои убеждения, а в результате этнических чисток, привязанных к своей земле... Видите ли, мы не знаем, не можем решать за них, где им жить. Да, кто-нибудь из них наверняка захочет переехать сюда, в Западную Европу. Ну, дай им Бог.

– *А если все же и здесь громят?*

– Я не вижу реальных оснований для Третьей мировой войны. Локальные войны – другое дело. Но все идет к тому, что будут созданы мобильные военно-полицейские силы, задачей которых будет ликвидация этих локальных конфликтов. Причем действовать они будут довольно жестко, не слишком разбираясь – кто прав, кто виноват, не считаясь с национальными амбициями, не прислушиваясь к воплям о вмешательстве во внутренние дела... а просто будут заняты энергичным тушением междоусобных пожаров. Надо ли этому радоваться – другой вопрос.

– *Словом, будущее столетие станет веком локальных войн и «мирового жандарма» в лице НАТО?*

– А что дурного в слове «жандарм»? Задача жандармерии – наводить порядок.

– *Все равно, по-моему, будет плохо. Хуже было бы только в том случае, если бы в «холодной войне» победил Советский Союз.*

– Вот именно. Важно, кто примеряет на себя жандармский мундир. И не дай Бог, если мировую власть обретет тоталитарное государство.

– *А жандармские функции разве не развращают любого жандарма?*

– Развращают. Как всякая власть. Вы, конечно, знаете это изречение: всякая власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Но у НАТО, к счастью, нет абсолютной власти. А вот с угрозой мировой войны и самоистребления человечества эта организация, я думаю, справится. Так мне кажется, хоть я и не оптимист.

– *Размышляя об участии писателя-эмигранта, вы написали однажды: «Что такое отечество? Место, где ты не будешь похоронен.» Это хорошо, плохо или просто сухая констатация факта?*

– Вы цитируете мою статью, опубликованную в «Литературной газете» около полугода назад и сильно искаленную в редакции при сокращении. А то, о чем вы говорите... в этой фразе моей есть опасность некой мрачной красоты. Но я не гнался за красотами, а, по-моему, сказал правду. Безоценочно.

– *Говоря об отечестве, вы имели в виду Россию?*

– Моим отечеством остается Россия. В буквальном смысле – это земля, где умерли и похоронены мои родители.

– *Что такое старость, Геннадий Моисеевич? Это мудрость, беспомощность, одиночество, подлинная зрелость?*

– Все вместе. Знаете ли, старость – это освобождение от многих иллюзий. Это ощущение банальности и скуки многих вещей, которые еще увлекают более молодых людей. Это постоянное чувство близкой смерти, с которым в конце концов человек свыкается. Ну и, наконец, это тяжелый груз неиспользованных возможностей и неисчерпанных желаний. Так, по крайней мере, мне кажется...

– Многие говорят, что Европа стара и скучна, рвутся отсюда в Америку. Встретить старость в Германии – это ваш осознанный выбор?

– Безусловно. С огромным трудом, но я построил здесь свою жизнь. Да и что, собственно, вы имеете в виду: старость или смерть? Я желаю их встретить там, где мой дом. А мой дом там, где моя жена, – вот в этой квартирке, в Мюнхене. Я человек домашний.

– Что такое ностальгия?

– Это чувство известно мне из книг, а больше понаслышке. Хотя знаю, что это... тяжелая мука, казнь, наступающая многих. Быть может, мне потому оно незнакомо, что я прожил в России страшную жизнь, хотя бы поэтому...

– Есть такая Россия, куда вам хотелось бы вернуться?

– Мне бы хотелось знаете куда вернуться? В Грецию V века до нашей эры, в эпоху Перикла.

– Почему?

– Видите ли, в Афинах того времени было десять тысяч свободных граждан. И эти люди – единственное в своем роде историческое чудо! – создали европейскую культуру. Великую литературу, великий театр, великую философию. Это поразительно, что такой маленький народец так много сделал. Ничего подобного прежде не было и никогда больше не повторялось.

– А чем бы вы там занимались?

– Литературой. Романов тогда не существовало... ну, значит, писал бы стихи или трагедии. Или слушал бы кого-нибудь из великих философов, а потом оставил бы воспоминания, подобно Ксенофону, написавшему о Сократе. Быть может, я ходил бы в «Академию» Платона; это, правда, уже не V век, но очень близко. А знаете, между прочим, почему я туда не поеду?

– Проблема с билетами?

– Проблема с билетами.

ПОПЫТКА И ПЫТКА

Пичугину отказано

Где-то у Бориса Хазанова, узника сталинских лагерей, рассказывается эта история, которую язык не повернется назвать анекдотом. Про дедушку Калинина, всесоюзного нашего старосту. Как едет он на Курский вокзал и плетется вдоль громадного товарного поезда, потряхивая козлиной бородкой и постукивая палочкой по перрону. Вагоны сверху донизу забиты просьбами о помиловании, и старичок их рассматривает, то есть вагоны. А потом на каждом из них, вооружившись мелом, пишет резолюцию: ОТКАЗАТЬ. И поезд отправляется в обратный путь.

Монументальная эта байка вспомнилась вчера, когда стало известно о том, что Алексею Пичугину отказано в просьбе о помиловании. В конце ноября он подал прошение, что по понятным причинам хранилось в тайне, ибо добрые дела российский национальный лидер обделывает только в полной тишине. На прошлой неделе приговоренный встретился с адвокатом Ксенией Костроминой и сообщил ей печальную новость. В четверг тайное стало явным.

Про ГУЛАГ вспомнилось не только потому, что путинскую эпоху нередко обозначают как «сталинизм-лайт», и это довольно точное определение. Вождь другой, страна другая, страхи другие, сроки обыкновенно другие, но традиция жива и ядовитая

смесь кромешного совка с абсолютной монархией отравляет воздух как тогда, во времена эффективного менеджмента. Про ГУ-ЛАГ вспомнилось потому, что по Пичугину катком прошлась именно сталинская эпоха.

Осужденный к высшей мере буквально ни за что, он воплощает в своей судьбе какую-то идеальную жертву государственного террора, и тут «Черный дельфин» закольцовывается с Колымой, Потьмой, Бутовским полигоном. Правда, приговоренный к пожизненному выламывается из образа типового покорного зека сталинской эпохи, поскольку не желает оговаривать того, чье имя подсказывали ему и следователи, и даже великий вождь. «Руководитель службы безопасности (ЮКОСа) сам, что ли, по собственной инициативе... преступления совершил?» – риторически вопрошал президент РФ задолго до того, как под воздействием внезапного приступа гуманизма помиловал Ходорковского. Путин имел в виду, что вменяемые Пичугину убийства тот организовывал по приказу МБХ.

В итоге Михаил Борисович на воле, а последний его заложник в тюрьме, и на вагоне, прибывшем в Москву, единственном на сей раз, было начертано то самое слово. Впрочем, за подписью Юрия Берга, губернатора Оренбургской области, но решение конечно же согласовано с Кремлем, и вагон уже добрался до Соль-Илецка. А это значит, что очередной приступ гуманизма не сразил нашего национального лидера и Пичугина оставили в той эпохе, когда пытали, сажали и убивали невиновных.

Есть ли выход оттуда, из беспросветного сталинизма, из прошлого тысячелетия в нынешнее? Алексей Владимирович настаивает на том, что никого не убивал и не получал заказов на убийство ни от Ходорковского, ни от Невзлина. Хотя Михаил Борисович прямо призывал его «сделать это». Признать несуществующую вину, обличить «заказчиков» и обрести свободу. Имеется версия, что ровно эту цену запрашивают и назначают

в Кремле, предлагая обменять добровольное покаяние узника на помиловку. Думаю, никто на свете не осудил бы заложника, когда бы он – реально под пыткой, которая длится уже тринадцать лет – согласился на такой размен. Но он не хочет, и в бумаге, поданной Путину, вины своей опять не признал. Как и в тех судах, где его последовательно приговаривали к 24 годам и к высшей мере.

Почему? Доводилось читать о том, что в заключении Алексей Пичугин стал глубоко религиозным человеком и просто физически не может солгать. Это нарушение заповеди. Однако не исключено, что движет им и другое чувство, которое можно назвать страхом, связанным с нежеланием унизиться и быть обманутым. Ужасом бесчестья. Боязнью того, что власть охотно выслушает его исповедальные речи, использует их для своих целей, но на свободу узника не выпустит и с удовольствием над ним поглумится.

Действительно, каких стопроцентных гарантий можно ждать от Путина? За Пичугина не бьется целая страна, как за Савченко, о нем, к сожалению, помнят немногие. Имиджевых потерь Владимиру Владимировичу опасаться нечего, да и что сегодня может повредить его имиджу?

Получается, что сталинская машина уничтожения в отдельно взятом случае Алексея Пичугина будет действовать бесперебойно – до самой смерти осужденного? Ответа нет, но хотя бы в этом, в непредсказуемости общего сюжета, да и самого ближайшего будущего сохраняется надежда. Надежда на чудо? Но мы их столько перевидали в последние годы, что понемногу отвыкаем отчаиваться. Сегодня имя политзаключенного снова на слуху, скрывать больше нечего, и о том, что ему отказано, знают в Комитете министров Совета Европы. Иными словами, судьба Пичугина взвешивается на каких-то весах и ситуация все-таки выглядит слишком неопределенной, чтобы приговор считать окончательным.

В конце концов и сталинские з/к, отрубив свои баснословные сроки, выходили на волю, и в ксивах, выданных им, прокуроры так и писали: «за отсутствием состава преступления». И поезд добирался до Москвы и тысяч других городов и сел, и реабилитированные возвращались домой и жили потом очень долго. Некоторые и перестройку застали, и Ельцина, и Путина... Борису Хазанову 88 лет, он проживает в Германии.

10.06.2016

ТОВАРИЩ С.

В ночь на второе марта 1953 года у вождя народов произошёл церебральный инсульт. Больной находился на своей даче в Кунцеве. Охрана обнаружила его лежащим без чувств на софе. Несколько часов спустя объятые страхом академики и профессора медицины констатировали правосторонний паралич конечностей, асимметрию лица и другие признаки острого нарушения кровообращения в бассейне левой средней мозговой артерии, – диагноз, доступный студенту четвёртого курса. Назначена обычная для таких случаев, достаточно осторожная терапия: покой, инъекции сердечно-сосудистых препаратов, кислород, глюкоза. Задача медицины – не подать повода для подозрений, в конце концов только что произошла расправа над «убийцами в белых халатах». Лечение не помогло, больному ничего уже не могло помочь. Причина смерти, наступившей около десяти часов вечера 5 марта, была вполне банальной: две трети населения цивилизованных стран умирает от нарушений сердечного или мозгового кровообращения.

Обитатели лагпункта на северной окраине Унжлага, одного из крупных исправительно-трудовых лагерей Северо-Востока Европейской России, где находился пишущий эти строки, услышали новость на другой день по радио: репродукторы висели во всех бараках. Гробовым голосом диктор Левитан произнёс: «То-

варищ Сталин потерял сознание». К этому времени товарища Сталина уже не существовало. Об этом ещё никто не знал, но все поняли, что он вот-вот отдаст концы. И я мог бы кое-что рассказать о том, как была встречена эта новость. О злобной радости, которая воцарилась в лагере: наконец-то! Эту радость не могла унять даже боязнь стукачей. И я был весьма удивлен, узнав (гораздо позже) о том, что всенародная скорбь не была выдумкой пропаганды, что даже сотни, может быть, тысячи задавленных в толпе, которая рвалась отдать последний долг каннибалду, не помешали проливать слёзы о нём.

В воспоминаниях Михаила Байтальского «Тетради для внуков» (к сожалению, до сих пор полностью не опубликованных) описан такой случай. Мемуарист, проживший бурную жизнь, участник Гражданской войны, комсомолец 20-х годов и, между прочим, автор известной песни «По морям, по волнам», журналист, троцкист, политический заключённый, солдат Отечественной войны, вторично арестованный после войны, реабилитированный при Хрущёве и, наконец, ставший диссидентом-правозащитником, – работал в начале 30-х в «Известиях» под началом Н. И. Бухарина. Однажды он присутствовал при разговоре главного редактора с сотрудником, отвечавшим за фотоматериал. Просматривая снимки, главный сказал: «У вождя мирового пролетариата не может быть такой низкий лоб. Поднять». Возможно, это был один из начальных этапов многолетней, трудной и ответственной работы по созданию великого Портрета – канонической иконографии вождя.

В эти годы или немного позже мой отец брал меня с собой на праздничные демонстрации Первого мая и Седьмого ноября. Я сидел у него на плечах и смотрел во все глаза на трибуну Мавзолея. Там, на очень большом расстоянии, можно было различить посреди соратников – или мне это казалось – фуражку товарища Сталина. Я помню и первые дни войны с Германией, речь Молотова и на двенадцатый день, когда бодрые сводки уже

никого не могли обмануть, долгожданный глухой, кишечный голос Сталина, непривычное обращение: «Братья и сестры...»

Только голос: вождь окончательно превратился в собственный портрет. Этот портрет жил своей независимой жизнью. Например, он не старел, появилась лишь лёгкая декоративная проседь в густой шевелюре.

Этот портрет жив по сей день. Независимо от всего, что мало-помалу стало известно о Сталине, что открылось за минувшее полу столетие, миф о великом друге и вожде обновляется, поддерживаемый псевдоисторической литературой, бульварной публицистикой, сказками о коварном убийстве Сталина, тоской по былому величию – глубокой, неизбывной тоской рабов по державным сапогам. Центральный мотив этого мифа, его истинный нерв – победа в Отечественной войне, якобы одержанная благодаря Сталину.

Тот, кто не забыл 9 мая 1945 года в Москве, – в этот день, на рассвете, постучали в окно и крикнули: «Кончилась война!» – тот, у кого этот день, как у меня, всё ещё стоит перед глазами, кто помнит эти счастливые толпы, песни, танцы на улицах, объятия, слёзы, это небывалое и никогда больше не повторившееся чувство, что всё страшное позади, всё прекрасное впереди, – будет, разумеется, возмущён и шокирован всякой попыткой поставить под сомнение мифологию войны и победы. Да и не только тот, кто имел счастье или несчастье жить в те времена.

«Слава народу-победителю!» Много лет эти слова сияли над зданием ЦУМа у входа на Петровку. Нелишне вспомнить и о том, что, не будь того, что свершилось, я и мне подобные были бы сожжены в печах. Страшно подумать, что стало бы со всей страной, если бы не удалось одолеть завоевателя.

Война, докатившаяся до Москвы (вспомним, что к началу декабря сорок первого года передовые части армейской группы вермахта «Центр» находились в 20 километрах от Красной площади), закончилась в Берлине, на Эльбе и в Северной Италии.

Война привела к расчленению Третьей империи, дала возможность отхватить изрядный кусок Польши, аннексировать Восточную Пруссию, создать послушные Советскому Союзу режимы в государствах Восточной и Центральной Европы. В конце концов она превратила СССР во вторую великую державу. Кто спорит? Но это был триумф разбитого и обескровленного победителя.

Многие десятилетия война была спасительным якорем пропаганды. Можно было с успехом списывать на войну все долги. Сославшись на военные трудности, оправдывать все ошибки и преступления. Победителей не судят! Между тем цена, которую заплатили за победу над Германией, не уступала цене, которую заплатила Германия за свою агрессию. Спросим себя, чем отличается такая победа от поражения.

Нам говорят, что колоссальные жертвы, принесённые ради победы, оправданы победой, что в конце концов никакая цена не была слишком высокой, жертвы неизбежны, необходимы. Не вернее ли будет сказать, что гибель миллионов людей была нужна по понятиям советского режима и его вождя, не знавшего иных методов решения насущных задач; что жертвы оказались непомерны не только потому, что страна испытала небывалое в её истории нашествие, но и потому, что страной управлял Сталин.

Многие задавались вопросом, почему удалось победить. Среди многих причин – какую считать главной? Я не пытаюсь на него ответить. Да и в двух словах не объяснишь. (На праздновании 60-летия победы не было произнесено ни единого слова о союзниках, о колоссальной материальной помощи, о фронтах в Северной Африке, Италии и во Франции). Вспоминаю давнишний разговор с военным юристом высокого ранга, участником войны. По его мнению, главная причина был та, что военачальники не щадили солдат. Жестокость высшего руководства не знала пределов. Американцы, даже немцы по возможности бе-

регли живую силу. Советские командиры, от высших до низших, знали: невыполнение приказа грозит опалой, трибуналом, смертью. Выигрыш должен быть достигнут ценою любых жертв. Ответ юриста был основан на молчаливом – и, разумеется, спорном – допущении, что другим способом, меньшей ценой одолеть врага бы не удалось. Шапками закидаем! Людские ресурсы России неисчерпаемы. Они, однако, оказались почти исчерпаны. И мы знаем, что последствия демографической катастрофы не изжиты до сих пор.

Вождь, не имевший военного опыта и образования, надел погоны маршала, а затем стал генералиссимусом, полагая, что таким способом он сравняется с Суворовым; на самом деле он оказался в одной компании с генералиссимусом Чан Кайши и диктатором крошечной Доминиканской республики генералиссимусом Трухильо. Он объявил себя «величайшим полководцем всех времён и народов» (буквально так же именовался Адольф: *größter Feldherr aller Zeiten*). В конце войны газеты именовали его Спасителем с большой буквы: он обожествил себя.

Правитель, облечённый всей полнотой власти, должен нести и всю полноту ответственности. Этот спаситель объяснял неудачи первых военных месяцев эффектом внезапности нападения, и никто не смел возразить, что неожиданность и неподготовленность были самым оглушительным свидетельством его военной и политической несостоятельности. Недолговечная дружба с нацистской Германией была одним из его самых печальных просчётов, не говоря уже о постыдности этой дружбы. Узнав о вторжении, он исчез, и почти две недели никто не знал, где он прячется. Этот полководец ни разу не был на фронте. После битвы под Москвой, в первые месяцы 1942 г., он приказал наступать на всём гигантском фронте от севера до юга, результат был прискорбен. Весной верховный главнокомандующий отдал приказ о новом большом наступлении на Юге; кончилось тем, что вермахт опрокинул Красную армию и на всех парах понёсся по

степям к Кавказу и Волге. Во второй раз после трагической осени сорок первого года участь страны повисла на волоске. Неисчислимо множество молодых солдат погибло в последние дни войны в Берлине только потому, что город, заведомо обречённый, лишённый подвоза и задыхающийся в дыму пожаров, надо было взять непременно к 1 мая. Надо было рапортовать вождю, что знамя победы водружено над рейхстагом. Почему именно над рейхстагом? Опустевшая руина, бывший парламент, который в гитлеровском государстве не играл никакой роли, почему он должен был выглядеть как конечный пункт, как символ победы, почему не подлинное сердце нацистского режима – помпезная Имперская канцелярия?

Сова Минервы расправляет крылья на закате. Мы, конечно, не умней и не проникательней наших отцов, но у нас есть то преимущество, что мы пришли позже. И наша оглядка на военное и послевоенное прошлое не может не отличаться от стереотипа, которое пропаганда усвоила трём поколениям советских граждан. Триумф оказался малоотличим от поражения и потому, что ни в малейшей степени не оправдались надежды и ожидания, связанные с победой. Её непосредственным результатом было новое ужесточение режима. Вождь известил свой народ о том, что капиталистическое окружение сохраняется, – это была условная формула, сигнал к возобновлению террора. Растущий, как на дрожжах, аппарат тайной полиции поглощал всё новые отрасли – военные, идеологические и хозяйственные. Как никогда, ощущалась необходимость принудительного труда; органы безопасности гребли рабочую силу из лагерей советских военнопленных и в бывших оккупированных областях; для той же цели был изобретён указ о «расхищении социалистической собственности» – и использован на всю катушку: 25 лет и 5 «по рогам»; поезда с заключёнными непрерывно поставляли трудовые контингенты для лагерей. Тотальная пропаганда превзошла все прежние достижения, воспевание вождя, истерический культ

приняли характер какого-то массового безумия. Мы спрашиваем себя, когда обозначился закат советской эры. Ответ прозвучит парадоксально: на высоте её торжества. Ещё далеко было до агонии режима, до гниения в семидесятых и восьмидесятых годах, и всё же это было началом конца; призрак мирового господства стал его вестником.

Голо Манн заменил упоминания о Гитлере инициалом Г., чтобы не грязнить этим именем страницы своей «Немецкой истории XIX и XX вв.». В 1953 году, в день, когда стало известно, что товарищ С. провалился в ад, я находился на станции Поеж, конечной остановке лагерной железной дороги, перед платформой стоял состав, в узком окошке вагона для заключённых показалась сопливая физиономия подростка, он заорал: Ус подох! Точно петух прокукарекал рассвет.

Через пятьдесят лет после смерти Иосифа С. мы спрашиваем, что осталось от вождя. Осталась память о победе, которую он приписал себе. Остались сочинения, поражающие убожеством мысли и языка: тринадцать коричневых томов – речи, трактаты о социализме и языкознании, собственноручно написанная или отредактированная биография, похожая на житие. Остались обрывки песен: «О Сталине мудром, родном и любимом», «Сталин – наша слава боевая, Сталин – нашей юности полёт», «Как солнце весенней порою, он землю родную обходит», «Сталинским обильным урожаем ширятся колхозные поля», «Сталинской улыбкою согрета, радуется наша детвора», «Взмыл орёл от гор высоких...» Остались воспоминания о нищете и голоде, о двадцати миллионах расстрелянных, замученных, закопанных на гигантских полях захоронений, погибших на этапах, в концлагерях и ссылках. Осталась толпа слабоумных с морковными знамёнами, с нестареющим портретом на палке. Осталась память о самых страшных десятилетиях российской истории. Остались сапоги.

2005

ПТИЧКИНО ДЕЛО

* * *

...А и правда, матушка, *ты не шей мне:*
Очень трудно было принять решение,
Но теперь ношу я платочек шейный,
На платочке – серебряный эдельвейс –
Символ здешних мест, если кто не слышал,
Он был здесь во множестве, был – да вышел,
А сейчас взобрался куда-то выше,
Да и выше – вышел почти что весь.

Нам самим бы полочку в книге Красной,
С сарафаном, вот, и о нём же басней,
Коих в мире, может, и нет прекрасней,
Да кому из нынешних ко двору?
Ты не шей: в сарафане здесь было б *зимно*,
И само шитьё твоё – эксклюзивно,
А цветочек местный – неотразим, но
Был да вышел. Я тоже, даст Бог, помру.

АПОЛОГИЯ ЗМЕИ

(очень реакционный текст)

Змее подкольной, Империи зла,
Сломали хребет, и она уползла
На север, в леса, под колоду –
За вашу и нашу свободу.
Лежит под тяжёлой колодой она,
Меж тем как свободы – уже до хрена,
И мыши, хватив марафету,
Гуляют гульмя по буфету.
А те, кто решил, что довольно кота,
Не смыслят в делах и котках ни черта:
Кошачий дозор, к сожаленью,
Чреват лихоимством и ленью.

Империя – эфа, гадюка, гюрза,
Удав, анаконда, стервоза –
Зато у неё золотые глаза
И грозная сила гипноза,
Империя – аспид, питон, сатана,
Но яд источает целебный она
В аптечную белую чашу,
Опять-таки: в вашу – и в нашу,
И древняя мудрость таится в змее,
И солнце горит на её чешуе,
И алые стяги над нею
В сиянии этом виднее.

Империи дюжи – но склонны ко злу.
И с этим бы надо считаться козлу,

Который валяет героя,
Другую империю строя.
А впрочем, похоже, что выхода нет,
Поскольку на лучшей из лучших планет
Истории колья и перья
Упрочили славу империй.

Змея же... Быть может, она и умрёт,
Затем что приходит известный черёд
Свободы, мышей, диффамаций...
Но может ещё оклематься.

* * *

Империя... это как увидеть живого летящего
птеродактиля – разве можно за ним не побежать?
Андрей Битов на встрече с немецкими читателями

Капитан, силком захвативший рубку,
Табакком папиросным набивший трубку,
В летний жар и лютую стынь зимы
Сквозь пески-барханы и льды-торосы
Свой ведёт корабль. А куда? Вопросы
Задавали не мы. Задаём не мы.

А поскольку не мы, то и впрямь не пёс ли
С нами всеми, такими, – увы, не львы,
Ибо, как оказалось, ни до, ни после
Не был так грандиозен престиж Москвы.

Может им, императорам (сплошь – тиранам),
Доставаться и должно тем самым странам,
Где вопросов лишних не задают,
Полагают традицией лучшей косность,
Варят сталь, запускают летучки в космос,
Мало-мальский мещанством клеймят уют,
Проливают слёзы в доме колонном,
Подпевают хорам краснознамённым
И вино зелено, точно воду, пьют?

То есть нам ли, чумным, да ещё в антракте ль,
О добре и зле, о последнем акте ль –
Предпоследней битве добра и зла –
Рассуждать? Ведь над нами, ещё цела,
Пролетает Империя. *Птеродактиль*.
Страховидна, избыточна, тяжела,
Но зато – в полнеба размах крыла...

* * *

Всё-то тянет нас, беспечных,
В тёмный лес сюжетов вечных –
И противиться не мне.
Из страны оборонённой
Едет ратник, приклонённый,
Этим лесом на коне.

Бился он за страх и совесть,
И его сраженья повесть
Приумножится в веках.
Змей сдыхает, побеждённый,

А некуда рукодельнице деться из этой сказки –
Ужо ты дождёшься, девица, счастливой развязки,
Уж ты поответишь, девица, Морозке: «Тепло»...
Рассказчик – вот этот денется. Ему-то чего? Трепло...

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ

(Исполняется на мотив
«Ехал на ярмарку ухарь-купец»)

Как по ухабистой горной тропе
Едет проезжий по имени П.,
Едет проезжий, встречает арбу –
Г. проезжает в закрытом гробу.

Как от версты к полосатой версте
Едет проезжий по имени Т.,
Едет-спешит, довершает судьбу –
П. уезжает в закрытом гробу.

Спит мелколосье, телега не спит,
Осью немазанной песню скрипит:
«Едет проезжий, встречает арбу...»
Ворон скучает на каждом дубу.

* * *

Памяти родителей

Счастливым год сороковой
Шумел зелёною листвою,
Тогда был папа молодой
И мама – молода,
И пахло ветром и водой,
И небом, и простой едой,
А вот вселенскую бедой
Не пахла жизнь тогда.

Когда двоим по двадцать лет,
И он ведёт мотоциклет,
А за спиной – почти балет! –
Верхом сидит она,
И думать, видимо, не след
О том, что жизнь одна.

Они гуляли при луне,
Они мечтали обо мне
И плавали в пруду,
И были счастливы вполне
В своей немыслимой стране
В сороковом году.

Они учились на врачей,
Ходили слушать скрипачей,
Их пафос сталинских речей
Пьянил сильнее вина,

И после лекций, все в мелу,
Они встречались на углу,
А за углом ждала она,
Священная война.

* * *

Не поспевший к *причастию буйвола*
выбирает сегодня пепси –
Ну, и дует её старательно, причём в любую погоду.
А я, покуда хватает спеси,
Выбираю ещё минеральную воду –
Той страны, где нам удалось родиться,
Но никто не сможет похвастать, что там и помер.
Хороша, если помните, была водица –
«Ессентуки» – или, там, «Боржоми», такой-то номер.

Та страна теперь представляется морем света,
Но, наверно, иллюзия: дело скорей в размахе.
И, конечно, там были страхи. Но были это
Тоже... как бы точнее... иного масштаба страхи...
...Поднимаешься в небо с пузырьками кислого газа –
Или капнешь в стакан серебристым таким стаккато...
«Отдыхайте на курортах Кавказа!» –
Говорит улыбающийся гражданин с плаката.

АПОЛОГИЯ Б. Л. П.

...и особенно наивность взрослого человека,
крупнейшего поэта и мужчины, – непростительна.

Б. Х.

Дураки, юродивые, кликуши!
Как нелепо устроены ваши души,
Как превратно настроены ваши уши,
В ваших горлышках тикает, как в часах:
Вы с ограды Летнего, что ли, сада
Кому надо поёте, кому не надо,
И святому, и гаду, и сыну гада –
Или даже тирану в смазных усах.
А зачем поёт соловей тирану?
А затем, что *не петь* ему – вовсе странно,
И тиран наливает воды из крана,
Полудохлых мух насыпает в щель,
Принимает идущую к делу позу,
Представляет почившую в Бозе розу,
Отставляет не-жизнь и её не-прозу:
Жизнь – от силы средство, а песня – цель.

Вертопрахи, бражники, златоротцы!
Не бороться – не значит не напороться:
Мяч влетает в собственные воротца –
Изнутри торопит и жжёт глагол,
И не сразу въедешь в угаре оном,
Что не Пастырь высится над амвоном,
А дымится небо над стадионом
И чужие болельщики воют: «Го-ол!!!»

Раз таким родился – пиши пропало:
Будешь петь, когда и кому попало,
Да и где попало: в горах Непала,
В амазонском лесу, на озёрном дне –
И тем более те же *решать задачи*
На вменённой в судьбу подмосковной даче –
Или тоже даче, но чуть иначе:
В забугорном днесь уже Ирпене.

Пустобрехи, гаеры, донкихоты!
Тушу мамонта вам не тащить с охоты,
Не пробиться в легенды морской пехоты,
В зимних видах спорта не преуспеть,
Не разжиться чёрным ли налом, белым,
Не ужиться с ловким бабцом дебелим,
Вообще: *мужским настоящим делом*
Не владеть: ибо птичкино *дело* – петь!

* * *

Римляне-бритты стрижены-бриты,
Персы и русские о бородах:
Пенятся вёсла, мелькают копыта,
Мчатся упряжки в полунощных льдах.

Дерзкие лощманы цивилизаций,
На многотрудном и долгом пути
В скольких смертях Вам пришлось подвизаться,
Чтобы доплыть, дошагать, доползти!

Вот этот град, от забвенья спасённый, –
Тауэр, Форум, Европа в окне,
Вот Победитель, над ним вознесённый, –
Грозная бронза на гордом коне,

Он указывает рукой отведённой:
Почта, Макдональдс, стоянка такси –
То ли Калигула, то ли Будённый,
То ли всея Самодержец Руси...

* * *

Что ж – Пушкин? Ну, сказал – и был таков.
На то и гений – не понять не стыдно.
А что между словесных игроков
Столь много наплодилось дураков,
Так в том его вина не очевидна.

Что ж – Пушкин? Ну, сказал – так ведь не нам.
Известно, что поэт по временам
Насмешничал и даже корчил рожи.
Известно же, что тот, кому сказал,
Эвтерпу и впоследствии терзал
И что вообще врубился – непохоже.

Что ж – Пушкин? Сам-то был умён, как бес.
И с этой констатацией, и без:
Никто других к уму не приневолит.
Вот он сейчас глядит на нас с небес,
Хихикает в кулак и ноготь холит.

* * *

Поэт в России больше... нет, скорей
Русскоязычьем взысканный еврей.
Поэт в России меньше... нет, скромней,
Чем кровью-почвой связанные с ней.

А потому герой, о коем речь,
Её гражданством может пренебречь
(Хоть им порой пожизненно наказан),
Но уж поэтом – дудки! – быть обязан.

* * *

Медленно, медленно мокрой дорожкой знакомой
К цели своей неизвестной ползёт насекомый
(Впрочем, ему эта цель, может быть, и ясна),
Медленно, медленно – осень, поди, не весна.

В мокрую гору, по астрам, распластанным в лёжке,
Переплетаясь, ползут насекомые ножки,
Счастье ещё, что вороны не видно пока –
Может, судьба и, того, пощадит старика.

Где твоё небе, бескрылая божья коровка?
Медленно близится неодолимая бровка,
Медленно близится, медленно – дело к зиме,
Медленно, медленно, медленно, медленно, ме...

* * *

Я стою на кухонном подоконнике за занавеской справа,
В красном горшке на синей тарелке с отколотым уголком.
Кажется, я опунция – или, может, агавы –
В общем, малозаметное, с полусохшим цветком.

Окно... Да, давно не мыли. Не то чтобы запустение,
Но... Дети, конечно, выросли и... но где же жена?
Ах, как прекрасно мы выглядели, комнатные растения,
Когда в этой старой кухне хозяйничала она.

Мне много воды не надо. Сейчас бы мне – *Больше света!*
Затем сюда и поставили, чтоб почаще цвести.
То есть когда казалось... Но теперь уже это
Для тебя – как будто и не было. Не до меня. Прости.

...И всё же она появляется, изящная, но мужская
Рука с облезлым кофейником... Тридцать четыре дня!..
Спасибо. Теперь мне хватит до... Я тебя отпускаю:
Вряд ли... Но если всё-таки... Вспомни, полей меня!

ПЕСЕНКА О ГОРОДЕ М.

В далёкий край товарищ почему-то
К итогу жизни кости поволок –
И обнаружил странный для маршрута,
Зато любезный сердцу уголок:

Там в глубине каштановой аллеи
На холмике над Изаром-рекой
Скучает в тесной клетке Лорелея,
И Тютчев стережёт её покой.

Товарищ напрягался, память вспучив
(Фронты фронтами и война войной...),
Но всё-таки допёр, при чём здесь Тютчев
И Лорелея за его спиной:

А – на границе тучи ходят хмуро,
А за границей – край сплошной зимы,
И в том краю живёт Литература,
У коей этот автор взят взаймы,

И может, он не часовой – конвойный,
И за собой ведёт девятый вал
В любимый город, могший спать спокойно,
А он не спал. И прочим не давал.

НОВОГОДНЕЕ

Здесь зимы не бывает,
А в декабре – тем паче,
Фён её задувает
Пастью своей горячей,
Громоздя из окрестных
Лип и пернатого хора
Гул – как в партерных креслах
К выходу дирижёра.

Ах, на пороге Сильвестра,
Здесьнего Нового Года,
Не откажите, маэстро,
Чуть помедлить у входа –
Может, за малость эту
Нам и воздаст сторицей
То, что пригасшим светом
В будущем озарится,

В будущем, кое зримо
И на глазах творимо
То совершенством грима,
То приветом из Рима,
То городком в соседстве,
Пряничным, точно в детстве,
С вечным его музыкантом
На бонбоньерке с бантом.

Будущее, вводимо
Жестом руки лебединым,
Льёт к голубым сединам,
Столь же непобедимым,
И, сопрягая в мотиве
Следствия и причины,
Выглядит в перспективе
От прошлого неотличимым.

Белые розы – в петлицы!
Слёзы – на белые лица!
Чтобы вернее слиться
С тем, что ещё продлится:

С ветром, землёй, травой,
С выпорхнувшей Сороковою...

ПРОГУЛКА СОЧИНИТЕЛЕЙ В НИМФЕНБУРГСКОМ ПАРКЕ

Мимо зимних гробов для статуй, поставленных на попа,
Мы вчетвером гуляем – то есть почти толпа –
В Нимфенбургском парке – местном эрзац-Версале.
Всё остальное, видимо, давно уже написали.

Из каких писаний известно: любовь слепа,
Почему поразить способна то мальчика, то старуху.
И лебедь садится на воду, сделав такое па,
Как будто бы собирается идти по ней, как по суху.

Последние бурые листья ветер несёт с вершин
Древесных, и воздух сыр, и солнце уже садится.
И, окунувший голову, лебедь выглядит, как кувшин,
Погружаемый ручкой кверху, чтобы набрать водицы.

Впрочем, также известно, что, хотя она и слепа,
Но, преследуя жертву, бывает куда как зрячей.
И, роняя редкие реплики, неспешно бредёт толпа,
По временам отражаясь в стылой воде стоячей.

Охотники за словами! Жертвователи богам
В деревянных мундирах, а по сезону – голым!
И ветер ныряет в чашу и приносит к ногам
Зайчика, куропатку и пару-тройку глаголов.

В это время душа... Ну а что – душа?
Она и тем уже, может быть, хороша,
Что ещё она кошка, собака, птица,
И она выпархивает, спеша
На Север. Чтоб вскоре и воротиться
И на круги своя, и в свой заколдованный круг,
Не осилив пространства хотя б до Бреста.
Ибо Север есть Север, а Юг есть Юг,
И с места им... и т. д. Да и нам – ни с места.

ДУНАЙСКИЕ ВОЛНЫ

А в саду городском, а в саду городском,
Там дорожки посыпаны белым песком,
Небеса источают полуденный зной
И деревья качает дунайской волной,

Золотые тромбоны на солнце блестят,
И мальчишки вдогонку влюблённым свистят,
А сумевшие скрыться под сень колоннад
Из бумажных стаканчиков пьют лимонад.

И пока там обеты дают на века,
И пока там конфеты жуют из кулька,
Их уносит не видимой ими судьбой
За не виденный ими Дунай голубой,

И пока там сгущаются тени, в саду,
Их заносит забвеньем, как тиною в пруду,
И хоронят, хоронят, хоронят живых
Под далёкое эхо музык полковых...

ВПЛОТЬ ДО БРОДСКОГО
Юбилейный дневник («Лытдыбр»)

24 мая.

Каждый раз, когда приближается круглая дата (или даже не особенно круглая) – день рождения или день памяти знаменитой личности, начинается оживленное бурление в культурных кругах. И чем круглее дата, тем бурление интенсивнее. И если объект, вокруг которого происходят эти всхлипывания, ушел в мир иной не так давно, и живы еще его друзья, подруги, коллеги, знакомые, случайные спутники или даже легкомысленные персонажи, опрометчиво пробежавшие когда-то мимо чтимого ныне гения (а так бы сидели среди избранных и цепляли к воротничку крошечный микрофон), то к этим счастливым, и к этому легкомысленному тоже, кидаются заинтересованные корреспонденты, редакторы и биографы, бегут с диктофонами, с огромными увеличительными стеклами в руках, еще раз рассмотреть детали, расчленив на совсем уж мелкие части, еще раз выжать остаточные воспоминания, хотя всё уже выжато и вспомнено много-много раз, ничего почти не осталось, все равно давят как пустой тюбик с кремом («ну как же вы не помните, попробуйте, у вас получится, ну вот о чем вы говорили, когда...») И приходится, приходится для них, жаждущих, что-то изобразить, а что делать, неудобно разочаровывать людей, у них работа

такая (они еще и заражают друг друга). Ну и расскажешь как это было на самом деле, если ничего такого и не было.

Ну, да это ладно... Здесь такие игры. Люди сомневаются в себе, идут в темноте, выставив вперед руки, нащупывают ногой следующую ступеньку, ищут чего-нибудь правильного, а то вдруг схватят какую-нибудь «картинку человека» или модель человека – называйте, как хотите – и давай её вертеть, трясти, расчленять... Всё стараются проследить, разобраться, найти точку отсчета, понять... Кого понять? Себя, конечно. Или нет. Всё-таки Его. Они ведь Его подобия, то есть все мы лишь образы и подобию. Возможно, кто-то ближе к Нему, кто-то дальше.

Будьте снисходительны, Иосиф Александрович..

Как там у Вас, кстати?

С Днем рождения!

25 мая

Смотрели передачу с друзьями Бродского. Что время делает с людьми. Уму непостижимо. Страшное дело. Страх и трепет. Трепет и страх. Смотреть на бывших красавиц – душераздирающее зрелище. Да и на мужчин – тоже, я вам скажу... эти брыли, эти плечи, эти пыльные морщины... (мстительные красавицы мысленно закричали: это вовсе не мужчины)

Н (с тоской): «С такими лицами нельзя из дому выходить, не то что в телевизоре показывать. Как только не стыдно».

М (почему-то с агрессией): «А сам-то, сам-то, иди, глянь в зеркало».

Н (резонно): «Ну я же ни в какой телевизор не хожу, сижу дома, никого не трогаю, починаю компьютер...»

М: «На улицу, однако, выходишь»

Н: «Вынужден. Но... ты же видишь, в больших темных очках»

Ахали дружно, потом кто-то предложил вызвать Иосифа Александровича. Все невероятно оживились, вытащили круг, испытанное блюдо, фирменное устройство, изобретение великого N – стрелка, соединенная с блюдцем. Открыли форточку, сняли все часы, кольца и браслеты, выключили свет (а компьютер N, вот что интересно, оставил включенным, сказал: попробуем), зажгли свечи. Начали готовить вопросы. Стали спорить о формулировках. Повысили голоса. N жутко разъярился, шепотом заорал (а как же, он же у нас медиум): «замолкните, идиоты!» Разговор посадили записывать трепетную M-штрих, вся преобразилась, гордая стала, вытащила блокнотик, приготовилась. N начал нагревать блюдо, долго-долго нагревал, поворачивал над свечой. M заёрзал: «не боишься, что лопнет». Он другое слово произнес, причем громко. M-штрих зашипела. M закрыл рот ладонью. Ну и дальше всё как положено. Вытянули пальцы. N набычился, вздохнул, выдохнул, закатил глаза, воззвал: «Иосиф Александрович, вы здесь?» И... оно поехало, блюдо поехало. Пошло, пошло и стрелка указала: «Да». На что уж я собой владею, но и то... холод дунул в затылок и волосы на голове, видимо, зашевелились, такое, знаете ли, странное ощущение, волна покалывания, от затылка до макушки. Спросили, как к нему обращаться. Быстро и четко ответил: «*без отчества*». Ну нет, мы не посмели. Вопросы были самые дурацкие, тем более M-штрих, стенографистка хреновая, до сих пор всё не может расшифровать. Блюде вело себя исключительно вежливо, ехало себе, ехало, стрелка шла от буквы к букве. То есть дух И. Б. был удивительно терпелив и снисходителен. Как мы и просили. Что мне запомнилось. Спрашивали (в разных вариантах) про нашу жизнь. Ответил типа «*данность*», про то, как к ней относиться: «*выносить невыносимое*». Еще вот что. M почему-то совсем низко склонился над блюдцем и зашептал: «Бог есть? Ответьте ради Христа, дорогой Иосиф Александрович». И пошли буковка за буковкой: «*Для меня есть, для тебя – не знаю*» (M вообще-то

уже принял, у них были потом разборки с М-штрих, он кричал на неё в коридоре: «даже если и пьяный, дух не собака, почему ему должны пьяные не нравиться»).

Новая Подруга нашего любвеобильного N спросила про танцы вокруг квартиры. Стрелка коротко вздрогнула: «*н-н-н-не...по-нял...*» N сообразил, зачитал прямо с экрана, что городское правительство хочет устроить музей в квартире на Литейном, там где было полторы комнаты, но...

«...позиция нынешних жильцов квартиры Иосифа Бродского на Литейном проспекте Петербурга «совершенно неадекватна». Губернатор Валентина Матвиенко рассказала, что три комнаты из пяти расселить удалось, а вот обитатели двух оставшихся упорствуют. „Им предложены уникальные условия: отдельные квартиры в центре города, выкуп комнат, – возмущалась губернатор. – Пользуясь присутствием СМИ, обращаюсь к жильцам квартиры – проявите гражданскую ответственность, покажите, что вы дорожите памятью великих людей!“ – призвала она».

Стрелка заходила ходуном, то есть она точно связана с компьютером, потому что колонки завывли (наша блондинка М-штрих вся засветилась, обратила восторженные глаза к N, мол, это открытие, то есть новый шаг в спиритической технике, заблелая, что надо немедленно патентовать, на мой вопрос: где? удрученно покачала головой, N глянул на меня с укором, видимо, услышал иронию, ничего не сказал, нет, все-таки тихо процедил: «ты мешаешь», это мне, а на блондинку взглянул благосклонно, вот они мужчины, никакая похвала им не кажется лишней, ничей восторг не мешает). Потом уж пошли буквы. Довольно долго. В общем так. Иосифу Александровичу очень нравятся жители его прошлой коммунальной квартиры. И никакого музея он там видеть не желает. Вот. Пусть остается коммунальной. И я бы оттуда ни за какие коврижки не уехала. Отличное же место – Летний сад, Фонтанный дом, журнал «Звезда», все рядом.

UPD: О! еще одну комнату выкупили (окт. 2010), осталась несгибаемая тетенька, «с ней предстоит непростая работа», – сказал руководитель фонда музея Бродского. Ой, боюсь я, когда в России проводят с кем-нибудь непростую работу. Они проведут эту работу, никаких сомнений. Хотелось бы подробностей (разбежалась – говорю я себе и замолкаю до следующего апдейта).

26 мая

Питер город маленький. К слову, Ленинград так называли всегда, потому что короче – *Питер бока повытер* – это я к тому, что теперешние эмигранты-патриоты принципиально зовут мой родной город Ленинградом, не признают Петербургом, странные люди... Итак, город маленький и встретить можно было на дружеских посиделках буквально кого угодно. Вплоть до Бродского. Речь идет, разумеется, о временах моей молодости. Однажды Бродский пришел на вернисаж к одному художнику. Ничего плохого об этом художнике я не скажу, поэтому могу назвать его имя. Звали его тогда Эдди Мосиэв, правда, потом он называл себя – Луис Ортега, утверждая, что это его подлинное имя и есть. Он был испанский ребенок, и во время гражданской тамошней войны в возрасте двух лет попал в Россию.

Так вот, Бродский пришел на вернисаж, в известную в городе мастерскую. И мы оказались с ним на одном диванчике. Почти рядом (между нами поместился один известный советский писатель Михаил Глинка, который Бродского и привел).

Непривычная ситуация сложилась для Иосифа – никто не говорил о поэзии и стихов никто не читал. И вообще, все смотрели на художника, на его картины, на его рисунки (очень хорошие рисунки), некоторые на его красавицу жену, но это как раз Бродский мог понять, и слушали художника, который, кстати, умел говорить, в отличие от своих собратьев по кисти или резцу. У художников ведь со второй сигнальной системой, как правило,

не очень. Но этот был исключение, уверенное в своём уме и гениальности. Хвастун он был редкостный, сразу вытащил и показал публике медаль испанского Эскуриала. Да, еще он очень спокойный был. И зашёл разговор о религиях и всякой эзотерике, о тайнах, скрытых мудрецами в картах Таро. Даже не разговор, а спор. И Бродский ринулся в спор, очень разволновался и страшно покраснел. Он вообще уже давно, как я заметила, начал волноваться – в центре внимания по недоразумению оказался самоуверенный, спокойный задавака. Помню, что Иосиф непрерывно сжимал и разжимал кулаки, потирал руки, чудовищно заикался и дрожал. Ему надо было непременно победить. Но не тут то было. Гордый испанец, невозмутимо поигрывая медалью Эскуриала, смотрел на Иосифа с явным превосходством и сдаваться не собирался. Вот видите. Никто не знает будущего, даже гордые испанцы, владеющие тайнами карт Таро.

Годы спустя мне стало понятно, почему Бродский захотел повидать этого человека – кроме художественных талантов Луис обладал некими эзотерическими знаниями, и к нему навевались люди самых широких интересов и поползновений, в том числе даже и физики-агностики, в основном чтобы позабавиться и поболтать. Ремарка в сторону – однажды я привела к Эдди-Луису (мой ревнивый муж упорно называл его Эдиком) отличного физика, спорщика и говоруна Мишу Толстого, привела с провокативной целью – посмотреть как сцепятся два владеющих словом человека, при этом я втайне ставила на замечательную логику и знания моего физика. Ничего однако не получилось – физик (посмеиваясь) ловко ушел от какой-либо дискуссии, продемонстрировал нам такой, в некотором роде, блестящий приём, и позволил павлиньему хвосту художника распуститься до ослепительного, но абсурдного сияния. Иосиф же в те поры искал собеседников в этой заумной области и в своих метафизических поисках пытался, по свидетельству друзей, даже читать отечественных мистиков, например «Арканы Таро» В. Шмакова.

«Потом увлечение это прошло, и в стихах встречаются резкие выпады против оккультизма». Так пишет Лосев и приводит примеры:

Иначе – верх возьмут телепаты, / Буддисты, спириты, препараты, / Фрейдисты, неврологи, психопаты. / Кайф, состояние эйфории, диктовать нам будут свои законы... / Наркоманы прицепят себе погоны.

И вот думаю – высокомерный испанский художник начал благое дело отвращения Иосифа от оккультных наук. Вполне. (И ведь хорошо, да?) Так бывает. Не мог оказаться Бродский лидером в этой компании. Сама личность знатока была ему неприятна, и все, что с этой личностью оказалось связано, немедленно подверглось отрицанию. Предположение это, всего лишь предположение.

А вот что еще вспомнилось: тот самый спутник поэта, писатель Миша Глинка, который называл себя другом Бродского (ну, пусть не друг, пусть просто хороший знакомый), через много лет прилетел погостить в Нью-Йорк и спросил у общих друзей, не знают ли они телефон Иосифа. Они сказали, что, конечно, знают, как не знать, но так сразу дать не могут – Бродский стал звездой, и надо у него испросить разрешения.

Позвонили. «Миша Глинка? – переспросил Бродский, – что-то не припомню такого». А ведь сам говорил, что человека, прожившего жизнь в России, следует без разговоров помещать в рай. Не пожалел бедного советского писателя. Унизил. Ну что возьмёшь с гения.

27 мая

Вечером опять вызывали Иосифа Александровича. Долго не появлялся. Возможно, мы ему просто надоели. На повторный вопрос про то, как там всё, ответил коротко: «нормально». (Помнится, Довлатов сказал: «скучно, но жить можно...») Потом отослали ему некоторые ссылки на фильмы про него и статьи.

Эксперимент. Ждем. Вроде никакой реакции. Уж очень долго молчал. Через некоторое время стрелка заметалась как ненормальная, буквально все буквы алфавита выкидывала: пппппп, словно заикался: ииии, еще раз: пппппп, снова: ииии... почему-то: зззззз..., хххххх (то ли смеялся, то ли еще что...), потом практически застонал: уууууууу, мы не успевали записывать (N буркнул: «надо все-таки простенькую программку поставить»), выдал длинную паузу, и вдруг явственно: «дураки». Это, разумеется, нам, поскольку действительно ничего не могли разобрать.

Ну мы больше не настаивали, отпустили, кто-то начал вслух читать какой-то текст, прямо с экрана, (его-то мы отпустили, а сами не могли отвлечься).

...в юности, как рассказал корреспонденту Мирсаид Сапаров, они с Бродским на самом деле были близнецами.

...живя в одном городе с гением, глупо с ним не обедать.

...в жизни, а не в литературе вкусы Бродского проще: больше всего он любил котлеты.

...довелось обедать с Бродским в огромном ресторане, устроенном на гонконгский манер, официанты развозили по столикам блюда, на одном я увидел куриные лапы с когтями..

...читатель переваривает слова поэта, которые меняют молекулы его тела.

«Зачем про пищеварение, не хочу ничего знать про котлеты, как-то не интеллигентно – закричал М, – и потом, чьи молекулы? какое тело? кто меняет? на что меняет? ничего не понятно. Причем здесь молекулы».

«Это метафора, болван».

«Куриные лапы с когтями?» – протянула задумчиво М-стрих.

«Когти были покрыты красным лаком, – заявила с непроницаемым лицом Новая Подруга N и добавила, – цвет дракона».

«Сам ты болван! Бродский центр моей Вселенной, я хочу возвышающего...».

«Канешна, королева не какает, – проявила солидарность Подруга, – котлеты неуместны».

Чувствуя, что обычный абсурд нарастает, я включила свет, закрыла окно, предложила поставить чай. М. возмутился: мол, какой чай в два часа ночи и потребовал чистого спирта. М-штрих фальшиво улыбнулась, начала вызывать такси.

N (примирительно): Да ладно вам, какое такси? куда? а и правда, давайте чайку или кофе? Ух ты, смотрите, что делается в провинции:

Услышать высокую поэзию смогут обычные горожане – в течение двух недель стихи Бродского будут звучать из громкоговорителей уличного радио, расположенных в центре Воронежа».

Подруга N: Перепутали с Мандельштамом?

N (участливо): А вот что нашел, специально для тебя, точно как ты просил, возвышенное, поэтическое, от одной девушки:

Зная про самое главное, брал за живое весь свет, тот, кого выгнали за море, стал наш великий поэт.

M(взвыл): Всё! Здесь издеваются! Ухожу в ночь! Один!

N(практически с нежностью): Сиди уж. Мосты все равно разведены. А девушка, между прочим, спичрайтер президента России. Ну а вот это, как тебе? *«он поместил себя в вечность вместо времени», «являл образ профессионально умного человека»*... мы, например, с тобой умные, но непрофессионально... дилетанты... или *«сила слова его равна библейской»*... Вполне интеллигентно. А?

И вдруг, вдруг... вы не поверите, стрелка проснулась, затряслась, задрожала на одном месте, завибрировала, (а мы ведь ничего не спрашивали) и написала:

«совсем очумели...»

Вот кто это сказал? Кто? И кому?

А стихи у Бродского волшебные, до сих пор волшебные, и такими останутся, видимо, навсегда.

2010

ALL HEIL!

Моим друзьям-велосипедистам

В июле 1896 года в Мюнхен приехали два начинающих художника – Дмитрий Кардовский и Игорь Грабарь. С вокзала направились в гостиницу, а оттуда к дальнему знакомому, которого им рекомендовали как знатока мюнхенских реалий и возможного опекуна на первое время. Немолодой человек, родом из Измаила, давно уже жил в Мюнхене и водил дружбу с местными художниками. Россиян он встретил радушно, но в права опекуна вступил с некоторой категоричностью. Во-первых, он и слышать не хотел, чтобы те поступали в известную рисовальную школу Холлоши и взялся тотчас отвести их к лучшему учителю Антону Ажбе, с которым и лично был знаком. Во-вторых, он строго поинтересовался, есть ли у молодых людей велосипеда. И увидев растерянность на их лицах, «заявил с великолепной безапелляционностью: Надо непременно приобрести». Грабарь надолго запомнил эту сцену и описал в своих мемуарах.

– Для чего?

– Как для чего? Да разве художник может жить без велосипеда?

– А почему же нет?

– Без велосипеда он шагу ступить не может, никуда за город поехать: нет ни одного художника во всем Мюнхене, у которого не было бы стального коня.

– Для этого много денег нужно иметь, а у нас нет...

– Пустяки, приобретете в рассрочку на целый год, не замечайте, как платите, а зато уж и наслаждение. Нет, нет, это дело конченное, я вам все устрою.

Своей быстротой и решительностью он нас прямо гипнотизировал. Мы поступили так, как он хотел: отправились к Ажбе, а затем завели велосипеды.

Полгода спустя в Мюнхене появляются Марианна Веревкина и Алексей Явленский. Позже к ним придет европейская слава, а тогда они были просто подающими надежды учениками студии Репина. Опекунами новоприбывших выступают два мюнхенца с «солидным» стажем – Грабарь и Кардовский, они отводят начинающих художников к Ажбе и безапелляционно настаивают на покупке велосипедов. Почти в то же время из Москвы приезжает Василий Кандинский. Новоиспеченный юрист оказался во власти «безнадежной любви к живописи» и, отбросив планы научной карьеры, отправился в Мюнхен. Надо ли говорить, что вскоре и Кандинский появился в рисовальных классах Ажбе и не только услышал, но и свято уверовал, что в искусстве дорога без велосипеда ведет в никуда...

Грабарь вспоминает: «После школы мы обедали, а после обеда уезжали на велосипедах за город». Посещали пригородные усадьбы Нимфенбург, Шляйсхайм, ездили в Английский парк.

И не только в Мюнхене закрутился этот вихрь, напоминавший два одновременно вращающихся солнца. В Барселоне уже известный в середине 90-х Рамон Касас не расстается с велосипедом ни на улице, ни на холсте – изображает себя вместе с при-

ятелем верхом на тандеме и сам позирует коллеге-живописцу рядом со своим стальным спутником.

XIX век, 90-е годы – время, которое называют велосипедной эрой.

Уже несколько десятилетий человек пытался поудобнее устроиться на двухколесном агрегате. Вопрос, кто и когда его изобрел, звучит исторически некорректно. Как и многие шедевры техники, велосипед «сложился» как продукт коллективного труда, пройдя путь от опытных конструкций изобретателей-одиночек до профессиональных моделей. Он не родился в один момент, а вызревал десятилетиями. И вот, когда, наконец, добродил и дозрел, как хорошее баварское пиво, перестал отдавать суррогатом доморощенной сборки, то из разряда движущихся диковин, от вида которых не только люди начинали креститься, но и лошади шарахались в сторону, был медленно, правда, не без болезненных эксцессов, принят в категорию «транспортных средств». Тут и сами пионеры-велосипедисты с облегчением перекрестились и сразу развили бурную деятельность – стали еще демонстративнее кататься на виду у пешеходов и лошадей, а некоторые и вообще распоясались – начали ездить на работу, в керосиновую лавку, на любовное свидание и даже на тайные собрания партийных ячеек, а те, кому все-таки доставалось на улице лошадиной вожжей, бросились создавать велосоюзы и общества для отстаивания своих прав.

Даже древний уклад спокойного, размеренного и несуетливого потребления пива стал, к изумлению многих баварцев, меняться. Сначала (уже в 1883 году!) велосипедисты на своих железках принялись собираться на пивном фестивале Октоберфест. И для чего? Чтобы продемонстрировать, кто быстрее одолеет несколько ненужных кругов. Потом, что еще хуже, они начали требовать, чтобы пиво им подавалось наполовину разбавленное водой! Они, видите ли, сейчас на колесах! Завсегдатаи

пивных с тяжелыми кружками в руках только покачивали головами и говорили сквозь зубы: *Radler!* (колесный, на колесах).

Шутки шутками, но эти *радлеры* действительно некоторых раздражали, а с приходом нацистского взгляда на вещи даже появилась новая форма зубоскальства: встречаю тут одного типчика... неприятный такой, то ли еврей, то ли радлер...

Моральный ущерб велосипедному сообществу был нанесен в те годы и иным обстоятельством. Еще на заре велосипедизма среди «радлеров» появилось своего рода цеховое приветствие «Аль хайль!» (*All Heil!*), что можно трактовать как «всех благ!» или «всем здравия!». Однако с конца 1920-х годов бравый баварец с высоты своих двух колес уже не решался по старой традиции выкрикивать его, махая ручкой встречным. Во времена, когда страну воодушевляли «Зиг хайль!» и «Хайль Гитлер!», все созвучное воспринималось неполиткорректным.

Но во времена упомянутых замечательных художников, а именно в 1890–1900-е годы, доброжелательное «Аль хайль» было у велосипедистов и на слуху, и на языке, и, надо полагать, не обошло стороной и наших соотечественников.

Итак, 90-е годы XIX столетия – велосипедная эра и велосипедная мания. В предшествующее десятилетие велосипед приобретает конструктивную форму, которая в общих чертах сохранилась до нашего времени, а к началу 1890-х на нем появляются надувные шины. Велосипед перестал изматывать организм постоянной тряской. Распространенное на многих языках прозвище *костотряс* вскоре забывается, французское *Velocipede* перенимается иностранными языками, в том числе и немецким, но ненадолго – у германцев вскоре рождается собственное слово: *Fahrrad*. И если в 1882 году в стране было произведено 2 500 «фаррадов», то в 1897-м уже 350 000.

Двухколесное чудо полюбило среднее сословие, аристократы – тоже, но они ограничивались катанием в парках или усадьбах и уж никак не ездил верхом на велосипеде на бал,

в театр или на прием к королю. С велосипедом смирились мюнхенские лошади – тем более, что на улицах стал появляться еще более страшный монстр: рычащий и выпускающий отвратительные газы автомобиль. И подлинным любимцем велосипед стал в художественной, артистической, богемной среде.

Кандинский, задержавшийся здесь на многие годы, кажется, с ним не расставался – выезжал в пригороды, на берега реки Изар, в глухие уголки Английского парка, а когда открыл собственную рисовальную студию, то вместе с учениками совершал дальние поездки за город. Велосипеды можно было брать с собой в поезд, и это давало возможность Кандинскому устраивать уроки рисования в альпийском предгорье – например, в окрестностях любимого Мурнау.

В Мюнхене все упомянутые мной русские художники, а также не упомянутые, люди разных сословий и возраста, среди которых были будущие знаменитости (Добужинский, Билибин, Давид Бурлюк) или просто увлеченные любители, преимущественно поселялись в Швабинге. Как вспоминал Кандинский, на улицах этой мюнхенской окраины, которая представлялась ему как «духовный остров в огромном мире», на каждом шагу бросался в глаза человек с палитрой, холстом или папкой с рисунками под мышкой. Там все рисовали, в противном случае – сочиняли стихи, музицировали или учились танцевать...

И, конечно, ездили на велосипедах. В недавнем пригороде, только что сросшемся с Мюнхеном, в этой полудеревне, велосипед был востребован как модой, так и обстоятельствами – поездки в город, удобство выездов за город, внутреннее передвижение... Но стоил недешево, и потому не всякий мог себе его позволить.

Например, молодой доктор Иорданов, который прожил в Швабинге около двух лет. Тот же Кандинский, вне сомнений, не раз сталкивался с ним на улицах, может, притормаживал или объезжал задумчивого пешехода, а может, и демонстративно об-

гонял, подумывая про себя: «экий, однако, индюк...» Кандинский ведь не ведал, что этот господин русский и к тому же именно в это время и именно в Швабинге высекает искру грядущей революции. Как и доктор Иорданов, обдумывавший очередную статью для тайно печатавшейся в этой полудеревне газеты «Искра», не знал, что велосипедист – русский и будущий Кандинский, а потому, может быть, сквозь зубы бормотал: «экий, однако, радикал...»

Фамилия «Иорданов» служила прикрытием нелегалу, сменившему к тому времени множество партийных кличек и псевдонимов. И как раз в Швабинге он придумал себе новое имя, с которым окончательно и утвердился в истории: Ленин. (Представляете, как нелепо звучало бы: «Иорданов живет всех живых»...)

Признаюсь, обратив внимание на то, что велосипед в мюнхенском быту Ленина не упоминается, я не очень удивился: это обстоятельство вписывалось в трафаретный для меня образ человека, погруженного в эмоциональный мыслительный процесс. Где, как не на неспешной прогулке, мысленно метать фразы в адрес оппонентов, оттачивать риторику и собственные суждения... Со временем понял, что я не совсем прав: велосипедная езда вполне может сочетаться с характером взрывного, революционного мышления – об этом позже; что же касается отсутствия у Ленина велосипеда в Швабинге, то оно объяснялось недостатком денег.

К счастью, у будущего вождя была любящая и чуткая мать, она-то позже и подарила Ленину и Крупской новенькие велосипеды. Радостное событие произошло на берегу Женевского озера. Велосипеды были заказаны в Берлине и высланы почтой. Когда Ленин увидел огромную посылку, то огорчился, «что вернулась какая-либо нелегальщина, литература», но потом, разумеется, страшно обрадовался. Хвастаясь новинкой перед Бонч-Бруевичем, «подкачивая шины и подтягивая гайки на винтах»,

вскрикивал: «Смотрите, пожалуйста, какие чудесные велосипеды! Ай да мамочка! Вот удружила!» Правда, некоторое время спустя он появился на съезде Лиги российской социал-демократии бледный, с подбитым глазом и ушибами. Перед тем как-то неудачно пересекал трамвайные пути – упал лицом, зашиб руку... И дальнейшие годы его швейцарской и парижской эмиграции оказались наполнены как радостями, так и огорчениями, которые дарит человеку двухколесная езда.

Однако из всех занимательных велоисторий тех времен, имеющих отношение к «русскому» Мюнхену, более всего меня поразила пережитая и рассказанная Кузьмой Петровым-Водкиным.

Сыну сапожника и бывшей крепостной, учившемуся живописи и подрабатывавшему на гончарном заводе, разве только во сне могла пригрезиться возможность увидеть европейские музеи и выставки, рисовальные школы и студии. Но все дело решил велосипед! У витрины одного из магазинов в Москве, где было выставлено это чудо, мечтателя осенила, прямо скажем, нетривиальная идея: бесплатно или за символическую плату он получает «товар», а расплачивается рекламой своего велопробега. Маршрут был задуман дерзкий: Москва – Варшава – Брест-Славль – Прага – Мюнхен – Генуя! «После нескольких несообразительных торговцев, – рассказывал Петров-Водкин, – попал я на представителя одной немецкой фирмы, который меня понял, и за 25 рублей проката я получил великолепной прочности дорожный, оборудованный багажником, велосипед».

1901-й год: будущему именитому художнику неполные 23 года, Остап Бендер еще не появился на свет.

На роль Шуры Балаганова был приглашен еще более молодой и не менее склонный к авантюрным приключениям приятель, некий Володя. Для него раздобыли подержанный велосипед, тут же получивший прозвище «Прялка Маргариты». Он отличался непривычно высокой рамой, и Шура-Володя смотрелся

на нем «перелезающим через забор» и уж во всяком случае не был похож на тронувшую сердце Фауста простодушную Гретен. В присутствии газетчиков молодые люди вскоре стартовали на Серпуховской заставе.

Представления о велосипедных путешествиях уже захватывали воображение молодежи и совсем юного поколения рубежа XIX–XX столетий. Писатель Юрий Олеша, появившийся на свет в 1899 году, вспоминал о «самом ярком мечтании» детства и гимназических лет – «купить велосипед, поехать за границу...» Может быть, он прочитал роман Гэрберта Уэллса, вышедший за три года до его рождения? Роман назывался «Колеса Фортуны», и речь в нем шла уже не о гипотетической «Машине времени» (предыдущее произведение Уэллса), а о входящем в быт реальном продукте технической цивилизации, на котором его герой и отправляется в путешествие по Южной Англии. Но за пределами романа велосипед в философском восприятии великого фантаста начинает как раз выполнять одну из функций машины времени: он прокладывает его поколению дорогу в грядущее. Уэллсу не без основания приписывается крылатое изречение: «Когда я вижу взрослого человека на велосипеде, я не испытываю отчаяния за будущее человеческого рода».

А если ненадолго вернуться к Ленину, который, по воспоминаниям Троцкого, сетовал, что в разгар революции приходится тратить время на беготню по длинным коридорам Смольного и неплохо бы использовать для этого велосипеды, можно догадаться: им с Уэллсом нашлось о чем поговорить на известной встрече в Кремле в 1920 году – не только о вызывавших разногласия путях классовой борьбы.

В судьбе их поколения становление велосипеда сыграло, может быть, до сих не до конца оцененную роль. Оно знаменовало для человека прорыв – технический, социальный, психологический... О том говорит и сложившаяся поговорка, иронизирующая над всеми, кто пытается «заново изобретать велосипед». Ве-

ликими усилиями он уже создан. До него появился паровоз, сразу после него автомобили и самолеты, но это были *машины*, в то время как человек на велосипеде сам собой являл двигательный агрегат. И это детище смекалки и рук в известной мере помогло ему, наконец, оторваться от земли, научиться чувствовать баланс, заново оценить свою мускульную и душевную энергию, оно наполняло свежим воздухом легкие и вызывало прилив гордости и уверенности.

Когда в 1905 году известный своими парадоксальными суждениями наш философ В. В. Розанов увидел мюнхенских велосипедистов, он даже усмотрел в их житейской радости один из признаков «победы над католицизмом», в той его части, которая изначально обходила вниманием «великое и серьезное содержание будничной жизни».

Я бы осмелился поставить вопрос шире: не явился ли велосипед в этом контексте не только признаком, но и педальным двигателем в развитии общества? И не пора ли с этой точки зрения взглянуть на его роль в прорыве Кандинского к новому видению искусства, а Ленина к революционным идеям переустройства «мира насилия»? Ну а то, что велосипедная езда способна приносить не одни радости, но и синяки, и даже увечья, как едущему на нем, так и окружающим, всего лишь отражает дуализм, лежащий в основе мироздания.

Не знаю, рассказал ли тогда Ильич Уэллсу об уральском крепостном Ефиме Артамонове. Тот еще в 1801 году, первым в мире, не только смастерил «двухколёсный цельнометаллический велосипед», но и приехал на нем из родного поселка на коронацию государя в Москву. Уэллса бы эта история восхитила как фантаста и озадачила как реалиста. У нас она многие десятилетия оставалась предметом гордости и только недавно оказалась развенчана. Но не стоит расстраиваться: легенда и сама псевдоконструкция Артамонова родились в конце XIX столетия, и это по-своему замечательно отражает радость, вдохновение,

порыв фантазии и энтузиазма, которые вдохнул тогда в человечество золотой век велосипеда.

И все же – одно дело ехать к царю-батюшке на диковине, которой еще не существовало, мечтать о путешествии на велосипеде в Европу, как одесский юноша Юрий Олеша, развезжать на нем по Англии на страницах романа Герберта Уэллса, и совсем иное – взять и отправиться с Серпуховской заставы в вояж «Москва – Генуя»...

Об этом необычном и полном приключений путешествии можно прочитать в книге Петрова-Водкина «Пространство Эвклида». Я же ограничусь в пересказе тем, что после длинного пути через Восточную Европу, уже на немецкой земле, «Прялка Маргариты» развалилась, и благородный Петров-Водкин уступил товарищу, который не на шутку вжился в образ велосипедного фаната-путешественника, своего потрепанного, но все еще надежного немецкого друга, а сам, без денег и с новыми приключениями, поездом стал добираться до Мюнхена.

В Швабинге сердобольные соотечественники, услышав его рассказы о велосипедных скитаниях, объявили подписку по сбору средств для его пропитания, а добрый сердцем Ажбе любезно разрешил посещать студийные занятия бесплатно. Что же касается спутника Петрова-Водкина, то некоторое время спустя и он докатил до Мюнхена и после короткой передышки, как и планировалось, продолжил путь в сторону Генуи.

И пока крутил педали по немецким весям, незнакомые собратья по двухколёсному цеху кричали ему свое «Аль хайль!», и он махал им рукой и улыбался в ответ.

ПУШКИН В МЮНХЕНЕ

Когда я стал заниматься историей «русского» Мюнхена, меня удивило, что в числе его жителей и путешествующих гостей встречается большое количество лиц из окружения Пушкина – как близкого, так и далекого. Было бы понятно, если бы речь шла о таких столицах, как Париж, Рим, Вена, Берлин... В первой половине XIX века Мюнхен еще не мог претендовать на славу европейской культурной «метрополии» – она пришла к нему на рубеже XIX–XX столетий. И все же в пушкинские времена и в послепушкинские сороковые-пятидесятые город уже привлекал многих путешественников своими достопримечательностями, интеллектуалами (философы Шеллинг и Шуберт, эллинист Тирш, историк Гёрреси и другие) или, как минимум, удобством местоположения при планировании европейских вояжей.

У меня создалось впечатление, что чуть ли не четверть персон из словаря Черейского (Л. А. Черейский. «Пушкин и его окружение») прошла по мюнхенским мостовым. Во всяком случае, это будет не очень большим преувеличением, если учесть и незнакомых поэту современников, связанных с кругами его общения. В «пушкинском» списке мюнхенских гостей ближайшие друзья поэта – внимательно осматривающие город и его коллекции Василий Жуковский и Александр Тургенев, тут дважды побывал Петр Вяземский, на лекциях в университете – московские мыслители братья Киреевские, Михаил Погодин, Степан Шевырев, тут промелькнули Петр Чаадаев и Сергей Соболевский, дважды заглянул недовольный Николай Гоголь (то ему холодно, то жарко, да и гостиничный «кофий смотрит подлецом»), побывал Николай Греч, на дипломатической службе в Баварии занимали посты знакомцы Пушкина из рода князей Гагариных, «арзамасец» Дмитрий Северин и их сослуживец Федор

Тютчев, стихи которого Пушкин печатал в своем журнале «Современник», сюда приезжали сановники Сергей Уваров, Дмитрий Блудов, граф Бенкендорф, аристократ и музыкант Матвей Виельгорский, литераторы Владимир Титов и Николай Рожалин, тут прошли последние годы великосветских красавиц пушкинской поры Амалии Крюденер (Адлерберг), Марии Нарышкиной, Жанетты Вышковской, в мюнхенскую хронику вписался пышный куст царского семейства: Александр I, Николай I, великий князь и будущий царь Александр II, великие княгини Мария Николаевна, Елена Павловна, а также сопровождавшие их царедворцы обоего пола... А раньше всех названных и упомянутых в Мюнхене появился барон Шиллинг, который изучал технику литографии и в 1815 году отпечатал здесь в качестве образца озорную поэму дяди Пушкина Василия Львовича «Опасный сосед».

Сам же Пушкин, как известно, не бывал «даже в Любеке». Путешествиям за границу препятствовали то шестилетняя ссылка, то иные обстоятельства. Любек же был первым портом, куда прибывали россияне, отправлявшиеся в Европу из питерского Кронштадта. Вяземский в форме анекдота пересказывал сценку, как разгорячившийся в каком-то споре Пушкин несправедливо ополчился на Европу, на что его друг Александр Тургенев отозвался репликой: «Да съезди, голубчик, хоть в Любек».

Следующему нашему классику в хрестоматийном ряду поэтов – Лермонтову – тоже не довелось повидать заграничной Европы.

В свете всего этого мне показалось забавным увидеть на страницах мюнхенской истории реально живших тут Александра Пушкина и Михаила Лермонтова, а также встретиться на улице с Онегиным. Причем с Онегиным столкнулся почти в буквальном смысле: иду по городу и читаю табличку «Онегинштрассе»... Улицу художницы Марианны Веревкиной видел, ее коллег по цеху Василия Кандинского и Алексея Явленского то-

же, улицы композитора Александра Глазунова, немецкой актрисы русского происхождения Ольги Чеховой... В свое время меня приятно удивила встреча с Кюхельбекерштрассе, но тут быстро выяснилось, что она не только не имеет отношения к другу Пушкина поэту-декабристу, но и вообще к конкретному лицу, а названа в честь уважаемой в городе профессии: Кюхельбекер (Küchelbäcker) – одно из старых обозначений булочника. Но вот Онегин явно и не профессия, и не немецкая фамилия...

К слову добавить, в истории Мюнхена можно встретить Михаила Шемякина – художника, но совсем не того, который ныне известен во многих странах, Илью Эренбурга – опять же художника, а не именитого писателя. Но сегодня разговор о Пушкине, Лермонтове и Онегине.

ПУШКИН

Главным орудием его труда был карандаш, основным подспорьем – блокнот. Правда, что он там писал, было понятно только ему и узкому кругу посвященных. Язык был неузнаваем – ни русский, ни немецкий, да и на язык в обычном понимании это было мало похоже, скорее – смесь замысловатых закорючек. Сам же Александр Пушкин (Alexander Puschkin) не просто хорошо в этом разбирался, но и считался большим мастером, особенно, если это касалось системы «крючкотворчества», называемой габельсбергской. Однако, обозначим вещи своими именами: Пушкин был признанным стенографом.

Он родился в Мюнхене в декабре 1822 года. Как раз в тот год, когда наш Пушкин еще находился в южной ссылке, работал над «Бахчисарайским фонтаном», «Братьями-разбойниками», ка-

жется, уже подступался к «Онегину». Нашему Пушкину с детства были привычны немецкие фамилии, их носили лицейские друзья, учителя, государственные сановники, герои Двенадцатого года, ученые, домовладельцы, мастеровые... Как там у Гоголя в «Невском проспекте»?

«Перед ним сидел Шиллер – не тот Шиллер, который написал «Вильгельма Телля» и «Историю Тридцатилетней войны», но известный Шиллер, жестяных дел мастер в Мещанской улице. Возле Шиллера стоял Гофман – не писатель Гофман, но довольно хороший сапожник с Офицерской улицы, большой приятель Шиллера».

Со своей стороны, ни Гофман в Бамберге, ни Шиллер и Гёте в Веймаре не могли похвастаться соседством... ну, скажем, с цирюльником Державиным или портным Карамзиным... Русские были знакомы немецким классикам как странники, дипломаты, но в окружавшем их германском пространстве оседали редко. И все же оседали...

Пушкин, не тот, который написал «Пиковую даму» и «Бориса Годунова», а будущий знаменитый стенограф Пушкин, прилежно прошел курс обучения в мюнхенской гимназии (служивший здесь долгие годы Тютчев мог встречать его на улице в ученической форме), закончил университет и стал преподавателем, автором учебных трудов. За увлеченное распространение в Нюрнберге, Вюрцбурге и Байройте стенографической системы своего учителя Франца Габельсбергера был даже прозван в профессиональных кругах «Апостолом габельсбергской школы на франконской земле».

Когда во второй половине XIX века он профессорствовал в Байройте, туда навещался из Мюнхена еще один Пушкин – Йозеф, он был пятью годами моложе Александра и, судя во всему, доводился ему братом.

Йозеф Пушкин (в русском эквиваленте Иосиф, Осип) родился в Мюнхене в 1827-м, когда наш Пушкин (не «апостол») уже

работал над 3-й главой «Онегина». Йозеф также с детства любил карандаш и лист бумаги и после гимназии, на 16-м году жизни, поступил в Баварскую академию художеств.

Тогда и позднее его можно было часто встретить на мюнхенских улочках и площадях с эскизным планшетом. Он оставил потомкам серию акварелей с уголками баварской столицы, известны и его гравюры с видами Байройта и других мест.

Нам привычно, что рядом с именем Пушкина часто звучит имя его наставника и друга Василия Жуковского. Вот и в баварском Байройте Жуковский не преминул появиться: в 1821 году он заезжал туда к писателю Жан-Полю (Иоганну Рихтеру), в 1826-м навестил его могилу. А Байройт более позднего времени, каким знали его мюнхенские братья Пушкины, увидел сын Василия Андреевича. В 1882 году художник Павел Жуковский был приглашен Рихардом Вагнером для сценического оформления оперы «Парцифаль» в его байройтском театре.

Но вернемся к братьям Пушкиным. Их имена звучали по-немецки, хотя одно полностью совпадало с русским, второе имело русский аналог. Но фамилия совершенно очевидно выдавала инородное происхождение семьи. При этом в матрикулярной книге Баварской академии художеств, заполненной при поступлении Йозефа, графа «Происхождение носимого имени» содержит ответ: Мюнхен. Это могло бы означать, что его семья проживает в Мюнхене. Но следующая графа «Историческая страна происхождения» ставит в тупик: Бавария. Впрочем, и это может лишь говорить о том, что юноша воспринимался не приезжим, не иностранным студентом, а отпрыском проживающего в баварской столице семейства. В графе о родителях добавляется, что отец Йозефа домовладелец. Точка.

У них точка, а у меня вопрос: откуда взялся такой папа, родивший в Мюнхене вместе с неизвестной нам мамой двух талантливых баварцев Сашу и Осю Пушкиных, младших современников русского поэта?

Разумеется, вместо того чтобы метать тут вопросообразные молнии, следовало бы сходить в городской музей, где собраны работы Пушкина, с любовью рисовавшего уголки Старого Мюнхена, поинтересоваться там, порыться в архивах, связанных с учебой и службой его брата Александра, съездить в Гамбург, где Йозеф состоял в сообществе живописцев... Но тогда выяснится, что некто Пушкин (мало ли Пушкиных-однофамильцев) женился на немке, уехал, что в те времена было редкостью, в Германию, пошли дети, внуки... И все станет на свои места. А интрига исчезнет...

ЛЕРМОНТОВ

С Лермонтовым – никаких интриг: русский, по имени Михаил, отчество, правда, «подкачало»: Александрович. Но разговор о нем я хочу предварить сюжетом, непосредственно связанным с «настоящим» Лермонтовым, то есть с поэтом Михаилом Юрьевичем.

Нога его не ступала по чужбине, но вот судьба его автографов – рукописей, рисунков, набросков – отмечена довольно необычной географией. Часть их еще при жизни поэта попала в Вюртембергское королевство, куда со своим немецким мужем уехала родственница и друг поэта Александра Верещагина. Позднее к ее собранию добавились автографы и материалы от Варвары Лопухиной, в которую, как уверяют современники, Лермонтов был страстно влюблен до конца дней. Почти сто лет все это хранилось в одном из штутгартских замков, затем коллекция была распродана на аукционе. В поле зрения российских лермонтоведов она попала в середине XX века, когда ее часть

уже находилась под Мюнхеном в собрании профессора-историка Мартина Винклера.

С ним и попытался связаться в 1955 году Ираклий Андроников, но за неимением адреса отправил письмо наудачу – в самый знаменитый мюнхенский музей Старую Пинакотеку. Где оно затерялось, не знает, наверное, даже Всевышний. Каково же было удивление лермонтоведа, когда несколько лет спустя Винклер сам разыскал его.

И вот, в 1962 году Андроников в гостях у профессора: «Мартин Винклер живет в сорока километрах от Мюнхена в городке Фельдафинг, арендует нижний этаж уютного особняка. Из окон виден зеленый луг, сбегаящий к речке, купы деревьев. Квартира ученого напоминает музей: гравюры с видами старого Петербурга, портреты, писанные безыменными русскими мастерами, футляры от мумий, привезенные из Египта, соломенные зонты из Замбези, афиши балетных спектаклей Дягилева, в спальне – фотографии в цвете: хозяин дома снимает с большим искусством... Войдете в кабинет – великолепная русская библиотека по истории, по искусству, сочинения русских классиков, редкие книги, собиравшиеся в продолжение долгих десятилетий. В свое время – в 1928 и 1930 годах – профессор Винклер побывал в Советском Союзе, встречался с А. В. Луначарским, знакомился с Новгородом и Киевом, Ленинградом и Ярославлем, Москвой и Кавказом...»

Лермонтовские реликвии из собрания Винклера вскоре навсегда покинули баварскую землю: Андроников редко возвращался из своих путешествий с пустыми руками...

По случайному совпадению именно в то время, когда профессор Винклер со своей коллекцией поселился под Мюнхеном, на его улицах появляется Михаил Лермонтов, понятно – «другой». Только что закончилась Вторая мировая война. Ему двадцать с небольшим. За плечами сюжеты одной из типичных эмигрантских биографий – детство на Балканах, где он родился в се-

мье белогвардейца из российского рода Лермонтовых, воспитание в кадетском корпусе, служба добровольцем в Русском корпусе.

В кадетском носил прозвище «Гулька», там же в наказание за провинность однажды получил задание: «Ты, Лермонтов, пиши стихи!» Стал пробовать. Например:

На окне повис паук,
В паутине муха.
Скоро будет ей каюк –
Пауку житуха.

Другим его увлечением, в котором он тоже будто бы следовал за своим великим сородичем, становится рисование. В Мюнхене после войны начал учиться на архитектора. А в 1950-м перебрался в Америку, где прожил еще многие годы, работая преподавателем по истории России, архитектором и продолжая полюбившиеся занятия графикой. На рубеже перестроечных 1990-х у него завязались тесные отношения с Россией, в том числе с возникшей тогда ассоциацией «Лермонтовское наследие», объединившей отпрысков рода Лермонтовых из многих стран.

ОНЕГИН

Иван Сергеевич Тургенев, собираясь посетить Мюнхен в 1870 году, осведомлялся, застанет ли там своих друзей Онегина и Жуковского. Под Жуковским имелся в виду сын поэта, упомянутый уже художник. Фамилия же их общего приятеля звучала Отто, хотя он и называл себя Онегиным.

Происхождение Алексея Отто осталось загадкой. Сам он рассказывал, что был найден младенцем на одной из аллей Александровского парка в Царском Селе и получил фамилию крестной матери. Со временем – из любви к Пушкину – стал называть себя Онегиным. Так именовали его и близкие, под этим именем адресовали ему корреспонденцию, хотя официально смена фамилии была разрешена Александром III только в 1890 году, когда Алексею Федоровичу было уже 45 лет. Мюнхен был для него лишь одним из городов Европы, в которых появлялся он по разным обстоятельствам, пока окончательно не обосновался в Париже, где создал уникальный музей-хранилище русской культуры: творческие рукописи Пушкина, Жуковского и других писателей, эпистолярное наследие, живопись, графика, книги, мемориальные предметы... В 1907-м по личному указанию Николая II его посетил российский министр финансов, который, несмотря на известную скупость и присущее ему хладнокровие, тотчас признал необходимость приобретения коллекции Онегина, отметив, что ценность ее «никакому учету не поддается». В следующем году к Онегину в Париж был командирован пушкинист Модзалевский, со временем были подписаны нужные бумаги, выплачены деньги и собрание Онегина стало считаться собственностью России, с условием, что оно останется до конца жизни собирателя в его руках.

При всем уважении к Алексею Федоровичу, раритеты которого пополнили крупнейшие музеи, архивы и библиотеки России, я все же сомневаюсь, что члены городского совета Мюнхена, присваивая в 1956 году название Онегин одной из улиц, что-либо вообще о нем слышали.

Впрочем, не буду дальше интриговать читателя и сразу раскрою секрет: мюнхенский Онегин это женщина, знаменитая оперная певица 1910-х – 1930-х годов Зигрид Онегин. На баварской сцене она появилась в 1919 году, но в свое время, будучи

в возрасте фройляйн, брала в Мюнхене уроки вокала. До замужества носила фамилию Хофманн.

Первым мужем певицы стал пианист и композитор барон Евгений Борисович Онегин. В 1913 году, когда Зигрид было двадцать два, а Евгению Борисовичу за сорок, они заключили брак в Лондоне, сами же жили в Штутгарте. С началом Первой мировой войны у Евгения Борисовича возникли осложнения: как подданный враждебного государства он должен был или своевременно покинуть Германию, или встать на особый учет в местной администрации. И тут открывается, что «Евгений Борисович» не только не русский, но и не мужчина. Выяснились и настоящие «его» имя и фамилия – фрау Агнеса Элизабет Овербек, место рождения – Дюссельдорф.

В свое время Агнеса Овербек познакомилась в Италии с Зинаидой Гиппиус и, увлекшись литературно-салонной дивой русского Серебряного века, последовала за ней в Петербург. По возвращении стала выдавать себя за барона Евгения Онегина, но иногда представлялась и Львовым-Онегиным, называя себя внучатым племянником знаменитого музыканта, автора гимна «Боже, царя храни». Покрой костюма, прическа, некоторые манеры – все было умело стилизовано и приближено к мужскому образу. И этот артистический образ покорила молодую певицу Зигрид Хофманн...

Лондонский брак музыкальной пары был признан незаконным, в отношении Агнесы Овербек началось разбирательство. В 1919 году она умирает. И в том же году Зигрид Хофманн получает приглашение на мюнхенскую сцену. Годом позже выходит замуж за врача Фрица Пенцольдта. В Мюнхене и позднее на знаменитых подмостках Нью-Йорка, Берлина, Лондона, Зальцбурга, Вены, Парижа, Байройта она сохраняет свое сценическое имя Зигрид Онегин, с которым к ней пришла первая слава и, судя во всему, первая любовь.

НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ

– Вовка! Как же здорово, что ты приехал!!! Давай прямо завтра ко мне, а? Посидим по-домашнему. А то столько уже не виделись!

И вправду: виделись мы редко, да и то только урывками, а так, чтобы посидеть и наговориться вволю – такого за последние лет десять точно не было. Это при том, что отношение у меня к Димке никогда не менялось: умница, интеллектуал и эрудит, настоящий аристократ и по крови, и по духу, и при этом «свой в доску». Как мы подружились тому уж лет двадцать назад в Доме Учителя, где он пел в хоре, а я подрабатывал аккомпаниатором, так и сохраняли все эти годы теплую привязанность друг к другу, хотя он то и дело исчезал в Испании, а я вообще уже одиннадцать лет как в Мюнхене.

Жил он в Центре, в старом внушительном доме неподалеку от Трех Вокзалов. Я был у него только пару раз, но вспомнил его квартиру сразу – с ее располагающей к себе атмосферой и добротной старой мебелью без претензий и нарочитости. В квартире за все эти годы мало что изменилось. Всё соответствовало основательности, искренности и внутреннему достоинству ее хозяев. Старенькое пианино Seiler – расстроенное, но с душой. Дореволюционная пишущая машинка рядом с монитором компьютера. Рядом на стене – уже слегка выцветший лист с раз-

ветвленным генеалогическим древом рода Крашенинниковых. Даже бюст знаменитого предка – скульптора Ивана Мартоса, автора «Минина и Пожарского» – все на том же месте, и поразительное сходство его с Димой с годами только еще более усилилось. Это была просто Димкина голова, с той же выразительной залысиной, благородным носом и утонченными европейскими чертами лица какого-нибудь английского аристократа вроде Хью Фрайзера в роли капитана Гастингса.

Мы заглянули в комнату его прихворнувших родителей. Навстречу мне поднялся красивый седой старик с удивительно моложавым лицом, в больших валенках и с замотанным в огромный шарф горлом. Поприветствовав меня, он извинился за свою простуду и за то, что они с женой не выйдут к столу. Светлая старушка, которую я поначалу даже и не заметил – такая она была прозрачная, – протянула мне из кресла свою слабую призрачную руку. Подошел поздороваться и сын – серьезный сосредоточенный мальчик лет четырнадцати.

Мимо, совершенно меня игнорируя, тигриной походкой прошел породистый и элегантный сиамский кот. Под высоченным потолком, в недосягаемости для кота, в двух клетках болтались канарейки, время от времени внезапно издававшие оглушительный гам. На мгновение меня взяла досада – вечно меня приглашали в дома со всякой живностью, где тут же начинало свербеть в носу и раздражалась моя проклятая аллергия, так что вскоре было уже не до общения и застолья, и приходилось позорно спасаться бегством. Но здесь дышалось как-то особенно легко, и я успокоился: просто невозможно было вообразить, что в таком добродушном и гармоничном, располагающем к себе жилище может быть скрыто что-то неприятное или опасное для меня.

Шикарный дубовый стол, за которым могли бы разместиться человек двадцать, был весь заставлен соблазнительными угощениями, бутылками с коньяком, водкой и вином, а также ста-

ринными тарелками, рядом с каждой из которых стояло по два бокала и три разного размера хрустальных рюмки, и лежали такие же древние приборы. Весь этот аристократизм, как ни странно, ничуть не коробил и не угнетал, и совсем не претил моей демократически-бездородной душе.

Только вот Димкина жена где-то задерживалась.

– Будем ждать или сядем за стол?

Ее я видел только раз, полгода назад на моем концерте. Милая, женственная, с нежной улыбкой, умными глазами и симпатичным то ли белорусским, то ли сибирским выговором.

– Нет, ну что ты! Такую замечательную жену можно и подождать!

Мой друг усмехнулся. И, чтобы скоротать время, решил потчевать меня телевизионным репортажем из воронежской глумбинки, речь в котором шла об имении его предков.

Вот в кадре школьники, которым учительница показывает старинные фотографии и карты, рассказывая о Диминых прадедах. А вот и сам Димка, в тулупе и сапогах, деловито хозяйничает в своем доме, показывает собранную им оставшуюся со времен предков утварь, говорит просто и увлеченно, потом выходит на улицу к своим утопающим в грязи стареньким «Жигулям», волоча какую-то здоровенную деревяшку... А вот сомнительного вида мужичок «из народа», рассказывающий о том, что बारे, по словам старожил, никого не обижали, и что все-все безумно любили славных и добрых хозяев поместья.

– Слышал, как заливает? – подал голос Димка. – Талант! Небось, в первый раз о моих предках слышит, но для красного словца готов наплести с три короба! Хотя предки у меня и вправду были замечательные... Но ты дальше смотри!

Начался второй репортаж – о строительстве чудесной 16-метровой деревянной церкви на месте родовой усадьбы. Финансировали строительство Дима и сподвигнутые им многочислен-

ные родственники. Суетились строители попеременно с жителями, что-то тащили и носили, и Дима разворачивал план церкви, показывал его в камеру и что-то объяснял...

Тут мой друг потащил меня на балкон, показывать сложенные там гигантских размеров металлические петли для дубовых дверей храма. С балкона можно было разглядеть и его стоящую во дворе машину, так же как и в деревне по самую крышу заляпанную грязью.

В качестве продолжения беглого обзора своих предков Дима сообщил мне, что его прадед был знаменитым народовольцем, а по отцовской линии его род восходит к Феликсу Мендельсону – чего только не было намешено в его крови! – и в подтверждение включил скрипичный концерт своего американского двоюродного деда, носящего ту же фамилию. На обложке я с изумлением прочитал, что оркестром дирижирует великий Лени Бернштейн...

По-моему, Димка мог законно гордиться и своими деяниями, и своими предками, что он с удовольствием и делал. Но считать, что его распирало от гордости, было бы несправедливо: он был таким же, как всегда, утонченным и простецким одновременно – черта, отличающая подлинный аристократизм, которого уже практически не встретишь. Я искренне восхищался моим другом и радовался за него. Как же это все-таки здорово – знать свои корни и чувствовать свою связь с разбросанными по всему миру людьми, принадлежащими одному славному роду! Мне это было не дано – даже горстка родственников всегда меня раздражала, а «голос крови» казался жутким атавизмом...

Тут в прихожей послышались шаги. Появилась хозяйка.

Как-то сразу стало понятно, что она не в настроении и этого не скрывает. Вяло огрызнувшись на упрек мужа, она все же приветливо поздоровалась со мной, но тут же ушла в свою комнату. Это было несколько странно и не очень приятно. Однако мой

друг, словно ничего не замечая, в радостном возбуждении стал театралью всех зазывать.

Наконец, жена и сын вышли к столу, и мы расселись. С ее лица не сходила какая-то отстраненная полуироническая-полу-презрительная улыбочка.

– Вовка, анисовой водочки, а? Смотри, здесь все свое, деревенское: грибочки соленые – ты посмотри, какие! – и капуста квашеная! А огурчики-то, огурчики! Ну, за встречу?

– Селедка тоже своя?

– Не-е, – добродушно усмехнулся хозяин, – покупная, но тоже отменная!

И сразу подлил по второй.

– Вообще-то, Димка, знаешь, я же теперь практически не пью. Давление начинает скакать, а потом башка раскалывается.

– Да ты что, Вовка! Брось! Это ж только от вина бывает! Я тебе точно скажу. У меня друг есть, потрясающий врач, просто гений! Так вот, про вино – это все дудки, что там пишут, будто оно полезно, а водка – совсем другое дело. По 50 грамм каждый вечер просто необходимо! Мой друг – он зря не скажет. Ты ведь пойми, сосуды тренировать надо! Нам бы бегать, но ведь не бегаем! А годы-то идут, верно? А так выпил грамм сто – все равно что стометровку пробежал.

– То-то я смотрю, ты теперь каждый вечер бегаешь! – язвительно заметила жена. – Километры наматываешь?

Ах, вот оно что! – по крайней мере, наконец-то прояснилась причина ее странного настроения. Я слегка удивился, но поспешил себя успокоить: это, не иначе, явное преувеличение. Димка крепок, как дуб!

Старинного друга надо было срочно поддержать.

– А знаешь, может ты и прав: я уже давно замечал, что водка на меня не так уж плохо действует!

Выпили. Ах, какие грибочки! Пружинистые, полные жизни... Ей-богу, хорошо!

Налили по новой.

– А помнишь, Вовка, как мы в Сараево «Черногорки» целую бутылку тяпнули – и ничего!

– Ну да, это сначала ничего. А потом очень даже чего.

– Ага, зверская вещь. Но как легко пьется, зараза! Мы еще в горы полезли – вроде трезвые были. Побродили с часок, вдруг – бабах! И все...

– Вот с тех пор ты все время в горы и лезешь! – снова буркнула жена: – Конечно, что ж с нами считаться...

Ну, дела! Не ожидал я от этой особы такой несправедливости к моему другу, такой неприкрытой злобы. А ведь поначалу кроткой овечкой казалась! Ишь, зубки-то прорезались... Весь вечер бурчит. Это при том, что ведь палец о палец не ударила – все он приготовил! Добродушие моего Димыча просто на удивление безгранично. А сынуля-то как набычился, аж жевать перестал! Эх, не надо бы ей при сынуле-то, а? Не ровен час, скандал выйдет...

– Вот уж была благодать так благодать! – попытался я, как мог, спасти тающую на глазах гармонию. – Помнишь? На рассвете прямо только что испеченных булочек купили, в еще не открывшейся лавочке... Помнишь? Ну, за нас!

Эх, хороша капуста и огурчики, но грибочки – лучше всего! Да и анисовка – смотри-ка, ведь лекарством вонять должна, а поди ж ты – хорошая вещь! Как-то умеют все-таки в России каждой дряни придать какой-то особый колорит, характер, что ли... – даже не знаю, как выразить – так что она со временем никакого практически сопротивления уже не вызывает...

– А с работой-то у тебя как?

– Да как! В пяти местах! Профессура в университете.

– Ну, ты даешь! Правда?

– Только вот платят гроши... Зато – практически ни за что! Такая игра слов получается... Но жаловаться, вроде, грех.

– Да ты что, Димыч! – на меня накатило хмельное умиление. – Эх, думал ли я, что буду вот так, запросто, выпивать с профессором Университета!

– Брось, Вовка! Это я – с великим композитором за одним столом!

Он поднялся и приобнял меня.

– Пойду-ка я, принесу горяченького! – и уверенно прошествовал на кухню, откуда уже давно заманчиво пахло.

Непонятно... Он же прекрасно выглядит и покрепче меня будет. Да вроде как никогда и не пьянел. Ну, по крайней мере, не до потери образа и подобия...

Я посмотрел на жену. Она ответила грустным взглядом – чем, мол, богаты, тем и рады...

– Что, неужели так плохо? Как-то не верится.

– А чего ж хорошего? Все время одно и то же...

И она пустилась в какие-то горькие разъяснения пополам с упреками, а я сидел и думал: да, одно и то же, одно и то же...

Такой светлый, достойный и тонко чувствующий человек, умница, широкая душа!.. Но ведь она ж ему жена, ведь мы же все люди! Кто ж его поддержит и поймет?.. Одно и то же, одно и то же, одно и то же... А что, если был бы с ней такой божественный пропойца, как Веничка? Что бы от этого изменилось, если рядом с ней погибал гений? Может, гений и погибает... Да точно так же бы и гнала – безжалостно, безнадежно... Бедный, бедный мой друг!.. Утонченный аристократ, черт побери, географ и экономист, эрудит, рубаха парень...

– ...а Вы у нас ночевать останетесь?

Я с трудом вернулся к реальности.

– Если нет, он Вас обязательно до метро проводит. Он всегда потом гостей провожает...

Она выразительно помолчала и добавила:

– Вообще-то из-за Димы у нас все равно редко кто из гостей ночевать остается.

Я понимал, что тут полагается спросить, почему. Мне очень не хотелось этого делать. И все-таки я спросил:

– Почему?

– Расскажи ты. – Она ободряюще кивнула сыну.

Сын злорадно ухмыльнулся.

– Он ночью обязательно к гостям пробирается... Тихо-тихо так...

Я почувствовал, что надвигается что-то неотвратимое, как во сне, где нет сил, ни убежать, ни заслониться...

– Да это просто ужас! – перебила жена, как будто была не в состоянии больше терпеть. – Дима пробирается к ним, вот к этому дивану, где они спят, откидывает тихонько одеяло и начинает им ноги трогать!!!

– Дима??? В каком смысле? – обалдело спросил я и понял, что плохо соображаю. Кошмар стремительно сгущался вокруг меня. Такие подробности какому-то малознакомому человеку выкладывать?..

– В каком же еще смысле можно ноги трогать? – жена горько усмехнулась. – Да в самом прямом!

– А кому это приятно? – смачно поддакнул сын.

Ну, дела... Оказывается, совсем паршиво. Это уж не шутки, тут лечиться надо... Да как же это может быть? Чтобы мой друг?.. Но все равно, разве ж можно так сына на отца натравливать, да еще в присутствии чужого человека! Это же последнее дело, это такая трещина в семье – просто пропасть. Так вот какой горечью оборачивается вся эта прочная гармония!..

– ...а иногда наш Дима на этом не останавливается! – злорадно продолжала жена, которую, видно, понесло. – Сначала трогает их за ноги, а если гости не просыпаются – то он вообще начинает их лизать...

– ?..

Волосы зашевелились где-то внутри моей головы. Мне захотелось сжаться в комок и вообще исчезнуть...

Закричали канарейки. Пусть они замолчат! Меня знобит. Я болен. Ну почему я вдруг такой трезвый?! Почему я не заткнул вовремя уши или не закричал, чтобы ничего этого не слышать?! Где я, в конце концов? в гостях у друга или в психушке? Откуда такая чудовищная порочная склонность? из каких бездн Диминого подсознания выполз этот монстр? Или то было стремлением унизиться, расплатой за его утонченный аристократизм, компенсацией его чрезмерной гордыни?

Я содрогнулся, представив себе, как засыпаю здесь на диване и просыпаюсь от того, что профессор университета и рафинированный аристократ духа, потомок прославленных скульпторов и музыкантов лижет мне ноги...

Нет, это уж слишком! не может быть... Судьба не имеет права быть к нему так жестока! К нему – возводителю церкви, красавцу, любимцу женщин... Баловню судьбы... Моему старому верному другу...

Он? Он? лижет ногами кому-то ноги в пьяном экстазе??? Нет, нет! этого не может быть! Как это можно себе представить? как смотреть ему в глаза? Ужасно...

– Не беспокойтесь, я не останусь, – хрипло выдал я и поперхнулся. – Я вообще не собирался...

Дверь стала медленно приоткрываться.

– Ага, а вот и он! – усмехнулась жена. – Легок на помине. Наш «Дыма»...

Как это низко! Что она, собственно говоря, хотела сказать этим коверканьем имени? Или...

Боже мой, боже мой! – – – элегантно аристократической походкой, никого не удостаивая вниманием, в комнату царственно вошел и прошествовал мимо меня Дыма – почти что тезка моего почти безвозвратно оплаканного друга...

Дымчатый сиамский кот.

Владимир Генин

ГОЛЫЙ ОСТРОВ

(31 июля 2021 года. Хорватский фоторепортаж)



Еще раннее утро. Наш небольшой кораблик, набитый итальянцами, немцами и французами, сворачивает к острову Голый. Здесь находился когда-то лагерь политзаключенных, организованный вождем югославских народов Иосифом Тито по заразителному примеру другого Иосифа... Мутное солнце и безра-

достного цвета море изо всех сил пытаются создать подходящее настроение. К счастью, мы пристанем сюда только на один час, и для всех нас этот остров в расписании экскурсии лишь необходимое зло, неловкий трюк строителей, ненужная пауза. Главное – то, что потом: уже оплаченный обед в ресторане (поджаренные на гриле мясо или рыба) и знаменитая песчаная бухта... – и все, поглядывая на облака, надеются, что солнце все-таки не подведет, и тела уже предвкушают долгое купание в теплой воде и приятную распластанность на таком редком в Хорватии песке...



Уже с моря видны унылые бетонные строения. Мы причаливаем и гурьбой высыпаем на пристань, где нас встречает бесхитростный сувенирный лоток. Хочешь – покупай на память майку с названием острова, хочешь – изделие из глины, изображающее изможденного зека за решеткой, которого можно красиво повесить на стену, а то и маленькую, неловко стоящую фигурку того же заключенного с тем же номером на груди.

Наполовину моряк, наполовину так называемый экскурсовод быстро рассказывает о лагере сразу на трех языках, путая даты, из которых следует, что Тито поссорился со Сталиным уже после его смерти... Так или иначе, становится ясно, что Тито решил создать свой ГУЛАГ – без мудрого сталинского руководства но, судя по числу замученных, не хуже.

Еще один представитель незамысловатого бизнеса безуспешно пытается заманить хоть кого-нибудь на просмотр одиннадцатиминутного документального фильма об острове и его бывших обитателях, но мы уже двинулись в путь – никто из нас не намерен отвлекаться и размениваться на такие мелочи.

И вот мы у цели.



Приземистые строения разной величины, разваливающиеся почти что на глазах. Под ногами, ощерившись торчащими вверх острием гвоздями, снесенная временем и ветром деревянная крыша. Насквозь проржавевшая тачка огромных размеров, с резиновыми шинами, бесформенными и оплывшими, как цифер-

блат с картины Дали. Пустота и запустение... Нет ничего, что помогло бы определить назначение этих строений. Здесь были какие-то цеха? Здесь они работали? В этих печах, видимо, сжигали – что? Или?..



Ничего не осталось. Только ржавые трубы во все стороны, выломанные, готовые рухнуть в какой-то заранее предначертанный миг на головы очередным зевакам, которые пополняют безразличный реестр сгинувших здесь людей.

Ни могил, ни цветов, ни поминальной свечки, ни доски, ни обелиска... Только редкие, когда-то цветные, а теперь выцветшие и до камня вытертые лозунги на хорватском – что-то прославляющее Вождя и работу на чье-то благо, а поверх, кем-то из уцелевших – стихи про свободу, четко и размашисто, черной краской.

Как это непохоже на трогательно лелеемый и заботливо ухоженный немцами лагерь в Дахау, который так легко превратить в действующую модель...

А тут? Ничего, кроме пустоты, ни малейшего следа этих людей, мучеников и мучителей. Тоже мне памятник! Чему же? Неумолимости времени и распада?

Голый остров... И почему, собственно говоря, голый? Ведь там, за зоной, кустов и деревьев, вроде, хватает...

Оживленно фотографируя, мы движемся дальше. Надо успеть обежать все до конца и вернуться на пристань до отправления. Почувствовать страдания этих людей, видно, так и не удастся. Чертовски обидно. Потерянное время! Такое безразличие во всем, и снаружи, и внутри, во мне, как и во всех остальных. Забвение? Нет, беспамятство. Этих людей здесь больше нет, и следа их нет. Да их никогда и не было.

Моя дочка уже совсем не смотрит по сторонам и не забегает больше в пустынные полуобрушившиеся бараки. Она теперь снова занята своим любимым делом – ловлей обожаемых ею кузнечиков. Они, в общем-то, ничего не имеют против и никуда не собираются улетать, а с удовольствием греются от тепла ее рук.



...Дорога забирает все круче, все выше. Камни, одни камни, да колючий кустарник. Один неосторожный шаг – и моя любимая куртка порвана. Да как назло, на самом видном месте, у плеча. Вот досада! Настроение враз портится. А ведь день обещал быть таким приятным! Черт побери, ведь эту дырку жена потом тыщу лет не соберется заштопать. Напоминай ей теперь сто раз на дню!

Но вот и конец пути. Это еще что? На самом верху холма дорога упирается в какое-то каменное плато причудливой формы, во все стороны выгнутое и огороженное невысокой каменной стеной – то ли плац для парада в искривленном измерении, построенный в угоду патриотическому порыву какого-то шизофреника, то ли летное поле, сооруженное в рамках строго секретного проекта по контакту с внеземными цивилизациями... Нет, ни за что не догадаться! Придется прибегнуть к услугам нашего провожатого – ведь для чего-то же он тащится там, позади.



Ах, вот оно что!..

Прошное стремительно нагоняет и толкает в спину: это устройство для сбора дождевой воды. Другой у заключенных не было. Ее собирали по капле. В зоне, оказывается, морили не только голодом...

Но мы уже возвращаемся. Снова проходим по огромной пустынной площади. Кто выстраивался здесь? Лагерники или тюремщики? Прогоняли здесь кого-то сквозь строй? Что отражали здесь бетонные стены – крики боли, натужный ор прапорщиков?

Только глухая тишина...

Голый, голый остров!



Ну, вот и все. Наконец-то все позади. Осталось только свернуть к пристани.

И тут... – тут нас оглушает стрекот. Такой, какого никто из нас никогда в жизни ни слышал. Миллионы обезумевших цикад. Они кричат со всех сторон – из травы, с кустов, с деревьев... Боже мой, как они кричат, как невыносимо пронзительно они кричат!..



«Ты слышишь, слышишь? – зовет дочка. – Это же кузнечики! Мои кузнечики! Это остров кузнечиков, целый остров! Тут раньше были люди. Теперь их нет. Вместо них здесь поселились кузнечики. Здесь теперь только одни кузнечики...»

Кырк-Мюнхен, 2005

ДАВИД И ВИРСАВИЯ

Не в свои сани не садись

Библейское жизнеописание царя Давида потрясает своей непреходящей актуальностью: в его личности проступают те черты, отсутствие которых мучает меня в моих современниках. В первоначальном виде эти очерки были, наверно, гораздо длиннее, но шлифовались временем и разными авторами, пока не обрели оптимальную величину и сюжетность. В них остались только самые характерные эпизоды и только те слова, обойтись без которых было невозможно. В процессе обработки эта биография из серии «Жизнь замечательных людей» могла превратиться в сборник нравоучительных новелл, умных, но не очень интересных. Этого, однако, не произошло. Остался текст, плотный, как первичная материя, с запасом идей, которого хватило бы на целую литературную вселенную. Но вот что удивительно: несмотря на разнообразие описанных исторических событий, в сочинении нет разрозненности архивных текстов; при всей своей поучительности оно осталось самостоятельным и цельным литературным произведением, с кучей живо выписанных действующих лиц, с точной привязкой к времени и месту действия, с главным героем. Один из популярнейших сюжетов этого

произведения – Давид и Вирсавия, и мне хотелось коротко его воспроизвести, но я натолкнулась на неожиданные трудности.

Пересказывать содержание книги – тяжелая работа, потому что при этом стремление к точности перебивается желанием поговорить о прочитанном, высказать свое мнение и поделиться собственным опытом. И чем больше книга нравится читателю, задевает его за живое, тем неожиданнее будет его пересказ. В сущности, заинтересованный читатель – всегда интерпретатор, можно сказать, исполнитель, а нестандартное исполнение – это уже новое произведение. Меня давно томит желание написать «Записки читателя» и зреет тайная уверенность в том, что все искусство и даже наука (да простят меня ученые, как правило, презирующие непосвященных) есть интерпретация явлений данного нам мира, увиденного разными людьми по-разному. И автор – всего лишь один из них. Возможно, и Б-г не знает всего, что оказалось в созданном им мире, и открытия людей поражают и изумляют Его. «Гм...– бормочет Он про себя, – надо же... А мне и в голову не приходило...». Если поэты по-разному описывают один и тот же пейзаж, то почему одна и та же книга не может стать предметом столь же свободного восприятия и разговора? В ней читатель может увидеть сквозь свой, личный, магический кристалл, нечто отличное от того, что увидели другие, нечто неожиданное для автора книги и от того, что зафиксировала и навеки утвердила ревнивая литературная критика.

Тот же творческий импульс лежит и в основе так называемых сплетен, когда чужая жизненная коллизия пересказывается вольно, с дополнениями из собственной жизни и с сентенциями, близкими и понятными рассказчику. При этом возникает некий новый вариант житейской истории, привязанный к первоначальному только именем конкретного человека, того, чья неосторожная откровенность подстегнула чужую фантазию. Описав круг, история нередко возвращается к своему автору с такими добав-

лениями и пояснениями, что тот начинает подозревать своих лучших друзей в злонамеренности. В действительности, чаще всего никакого желания насолить ближнему нет, а есть удовольствие поговорить о себе или просто высказать свое мнение, используя для этого сюжет из чьей-то жизни. Отсюда и возникает литература, даже поэзия: теперь уже всем известно, из какого сора растут стихи, не ведая стыда...

Поразмыслив таким образом, я успокоилась и вот, возвращаясь к теме разговора – к Давиду и Вирсавии. Посплетничаем о них, и совершенно неважно в данном случае, кто они есть – наши знакомые, исторические персонажи или литературные герои.

Однажды под вечер царь Давид, встав с постели, вышел на верхнюю террасу своего дома подышать свежим воздухом. Наверно, настроение у него было паршивое, как всегда, когда просыпаешься перед заходом солнца. Голова гудела, во рту было горько. Армия его воевала, а он неизвестно зачем остался в Иерусалиме. «Становлюсь малохольным, как покойный Саул, царство ему небесное», – возможно, подумал Давид и зевнул от скуки и раздражения. И в этот момент его глазам предстало воистину чудное виденье: крупная рыжеватая женщина купалась в бассейне у себя в саду. «Вот так Сусанна!» – ахнул Давид. Конечно, он помянул не Сусанну. Но это неважно, мы ведь условились насчет свободы прочтения и изложения чужого текста. «Сусанна» – эквивалент, хорошо объясняющий настроение царя, которое моментально исправилось. Женщина была обнаженная, привлекательная и незнакома Давиду – и все это вместе очень ему понравилось.

– Кто такая? – спросил он и показал пальцем на соседский садик.

– Вирсавия, – ответил молодой слуга, удивляясь, как это царь вокруг себя ничего не видит, соседей не знает и даже красавицу Вирсавию до сих пор не замечал. – Ее зовут Вирсавия, – поправился он и, опустив глаза, добавил: – Она жена Урии Хеттеянина.

Ответ был с намеком: Урия, военачальник, рискует жизнью для страны и царя, и некрасиво класть глаз на его жену.

Судя по всему написанному в Библии, царь Давид не был Дон Жуаном и не считал делом чести заполучить любую приглянувшуюся ему женщину. У него был гарем, так полагалось; были жены; о них сказано немного, но достаточно, чтобы понять, какова была любовь этого человека, ибо сколько типов людей, столько видов любви. Царь Давид ценил в женщинах, кроме внешней привлекательности, верность и ум. Его жена Мелхола любила его и спасла от подозрительного и злого царя Саула, когда Давид еще был всего лишь военачальником в армии. Другая женщина, Авигея, умная и красивая лицом, тоже выручила его однажды из беды, и он на ней женился. Но история с Вирсавией настолько не типична для царя Давида, что в русском переводе эта глава получила отдельное, отсутствующее в оригинале, название – «Сугубый грех Давида». В чем состоял этот грех?

Мимолетные любовные связи, как бы они ни осуждались в обществе, существовали всегда; они оказались тем неискоренимым злом, с которым приходится мириться: оно в природе вещей, т.е. людей. Но одно дело – общая установка, и совсем другое – отдельная жизнь. То, что большинству сходит с рук, некоторым людям обходится очень дорого, и причин тому много, слишком много, чтобы в этот вопрос углубляться. Но одну причину упомяну, потому что в истории о грехе царя Давида она кажется мне ключевой: царь Давид, соблазнив Вирсавию, сел не в свои сани и совершенно естественно поехал не в ту степь. Случайно, не задумываясь, что тоже для него не характерно, он

закрутил роман с красивой соседкой, а когда та забеременела, захотел вернуть ее мужу. Легкость, с которой он готов был от нее отказаться, говорит о том, что серьезного чувства у него к Вирсавии не было. Такого рода историй при всех царских дворах не счесть, и придворные мужья часто даже гордились высочайшим вниманием к их женам. Все могло образоваться, если бы судьба Давида была иной, если бы он был человеком, для которого легкие интрижки – обычное дело. Придворные приняли бы стиль жизни своего царя и не роптали бы. Но Давид показал пример другого отношения ко всем жизненным проблемам, в том числе и любовным, отношения не нового, может быть, но естественно-го для него, и нарушения стереотипа ему не простили ни люди, ни Б-г, или, если угодно, судьба.

Первым взбунтовался обманутый муж, и, как ни загонял его царь в супружескую постель, Урия упорно ночевал на улице возле царских ворот, мотивируя это тем, что нечестно, мол, во время войны наслаждаться жизнью. Беременность Вирсавии, таким образом, могла иметь только одно объяснение: виноват был царь, и ответа на сакраментальный вопрос «что теперь делать?» Давид не находил.

Он был человеком религиозным, но с верой дело обстоит так же, как и с любовью: сколько типов людей, столько видов веры. Каждый верит / или не верит / по своему. Его вера основывалась на ощущении своей избранности, которую он понимал как особое доверие Творца. Он чувствовал ответственность перед Б-гом, поверившим в него, и этим отличался от большинства людей, которые, уверовав, всю ответственность за свои поступки возлагают на Б-га: мол, за то, что я верю в Тебя, Ты должен меня опекать. Такая вера возникает на грани неверия и расчета, она похожа на дружбу, описанную однажды Прустом, один из героев которого обладал потрясающим свойством искренне влюбляться в полезных ему людей. Такой вид веры как наиболее распростра-

ненный эксплуатирует антирелигиозная пропаганда. Давид не ставил под сомнение существование Творца и не ждал от него за это вознаграждения; напротив, принцип его веры формулировался примерно так: Ты, Господи, поверил в меня, и я должен оправдать твое доверие. Такой подход налагает на человека ответственность за все его поступки, ту самую ответственность, которую очень многие люди с удивительной легкостью перекладывают на других: на маму, на жену, на Америку и на евреев. Или на Б-га. Все оказываются виноватыми в неудачах таких людей и таких народов, умеющих много требовать от других и ничего – от себя.

Давид во все периоды своей жизни ответственным отношением к делам больше был похож на современного американского политика или бизнесмена, чем на типичного европейского монарха. Собираясь, например, сразиться с Голиафом, он расспросил о наградах, ожидающих того, кто победит великана; награда оказалась немалая: богатство, царская дочь в жены и в будущем, скорей всего, трон. Все это совпадало с предсказанием пророка, и Давид правильно оценил ситуацию: стоило драться, выигрыш был вполне реален. И он надел снаряжение, подаренное ему царем Саулом: медный шлем на голову, броня, меч. Было приятно появиться на людях в царских доспехах, но тяжело, жарко и непривычно, и помешало бы ему выиграть бой. Он знал, что помазан на царство, и, по идее, должен был стараться подольститься к царю и выказать благодарность за дары. Но главным было дело – сражение. И Давид сказал Саулу: «Нет, я не могу ходить в этом, я не привык». «И снял Давид все это с себя, и взял посох свой в руку свою, и выбрал себе пять гладких камней из ручья, и положил в пастушескую сумку, которая была с ним; и с сумкой, и с пращою в руке выступил против филистимлянина». Голиаф же, увидев перед собой хрупкого юношу с палкой и камнями, вместо серьезного оружия, стал издеваться над ним. И услы-

шал в ответ: «Ты идешь против меня с копьём и мечом, а я иду против тебя во имя Б-га воинств Израильских, которых ты поносишь, и я убью тебя, и узнают все, что не копьём и мечом спасает Господь».

Деловой подход не означает бездуховности – вот что следует, в частности, из этого эпизода: прагматизм является, добавим, хорошим средством против утопического отношения к жизни. Противопоставление прагматичности и духовности живо и сегодня; его сторонники все еще борются с капитализмом и новым явлением – глобализацией в уверенности, что отстаивают более высокий нравственный стандарт; недаром представители конкурирующих организаций – церкви и профсоюзов – выходят на демонстрации под одними и теми же красными флагами и портретами Че Гевары. Впрочем, тот же контингент марширует и на антиизраильских демонстрациях, и не зря: прагматизм в сочетании с сильным интеллектом и широким кругозором, то, что так характерно было для царя Давида, во все времена считался еврейским достоянием и вызывал особую ярость антисемитов.

Удивляет не только естественность поведения Давида, но и смелость автора повествования, который ни в малой степени не идеализирует своего героя: будущий царь, избранник Б-жий предстает умным, деловым человеком, правильно понимающим не только людей, но и знаки судьбы. Это последнее умение заставляет его часто не соглашаться с общепринятым мнением, поступать по-своему: он, уже будучи царем Израиля, как простой паломник, танцует с пророками, вызывая нарекания со стороны многих, в том числе и своей жены Мелхолы. Ветхий Завет вообще демонстрирует очень точное виденье правды жизни, т. е. главного в различных ее коллизиях, и умение эту правду преподнести. А нам остается только вдумываться и усваивать истину по граммам – на большее мы не способны. Неумение и нежела-

ние человека смотреть правде в глаза стало причиной расхожего мнения о будто бы жестокости Библии. Человечество любит золотые сны и развесистые клюквы. Их было много: коммунизм, фашизм, еще раньше – крестовые походы для освобождения гроба господня; и так далее. Навевает эти сны всегда какой-нибудь безумец, но понимают это люди, если вообще понимают, тогда, когда уже слишком поздно.

Не будь Библия такой мудрой в своей правдивости, мы ничего не узнали бы о прегрешении царя Давида. Да и вообще она не стала бы книгой книг, и микельанджеловский юноша Давид не всматривался бы так пристально в своего врага Голиафа – он бы позировал перед потомками, и очень многие из наших тщеславных современников с удовольствием узнавали бы в нем себя. А так – не узнают, слава Б-гу, тому, который избрал Давида, сына Иессея, а точнее, раньше всех разглядел у него на челе печать избранности.

Избранность – тяжела, и тема эта не однажды возникает в Книгах царств в связи с царем Давидом. В наше время под избранностью понимается чаще всего одаренность, а Библия толкует это буквально: Б-г отметил человека в толпе других своим вниманием и даже объяснил, почему: «Не смотри на вид его (парня – А. Л.) и на высоту роста его, – сказал Он пророку Самуилу. – Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце», т. е. в душу. В те времена вообще Б-г мог запросто разговаривать и с пророками, и с иными людьми; наверно, Он еще верил в человечество, но, судя по всему, постепенно эту веру утерял. Давиду же были присущи некие особые качества, они-то и обратили на него внимание Творца, хотя и внешне Давид был очень хорош собой. Возможно, уже тогда понимали, что в человеке должно быть все прекрасно.

Выше было замечено, что образ царя Давида в Библии не идеализируется. Я бы сказала, что книга эта вообще предлагает нам подход к жизни, отличный от христианского, и слово «идеализация» тут неуместно. Библия считает любую утопию вымощенной благими пожеланиями дорогой в ад, и человечество за свою долгую историю прошло по этой дороге много раз, но ничему не научилось. Вечная тяга людей к утопическим теориям свидетельствует о каком-то фундаментальном свойстве сознания или, скорей, души: тоска по беззаботному розовому детству, или по утерянному раю, шок изгнания.

С библейской точки зрения царь Давид хорош своим трезвым умом и ответственным поведением; это человек, которому можно доверить народ и страну, потому что, кроме перечисленных качеств, в нем живо понятие греха и Б-жеской справедливости. В наше время некоторого религиозного возрождения мало найдется людей, способных в своей религиозной чувствительности не перешагнуть ту грань, за которой начинается страна Утопия.

Давид не был неопитом и лучше нас понимал, что всему свое время: время для войны и время для мира; время для мщениия и время для милосердия; иными словами: истина конкретна.

Здесь возникает образ младшего сына, простого пастушка, которому суждено великое будущее. Этот сюжет прорастет в фольклоре многих народов мира; в русских сказках – это Иванушка-дурачок, хитроватый, добродушный парень, простыми методами добивающийся успеха, – можно сказать, демонстрация превосходства народной мудрости, победившей в 1917 году. В еврейском эпосе – благородный и красивый мальчик, избранник Б-жий.

Царь Саул недаром видел в Давиде соперника и стремился его погубить; но все было напрасно, ибо Аннушка уже пролила

масло, т. е. елей (у М. Булгакова безусловная библейская реминисценция), и пророк Самуил тайком от Саула помазал Давида на царство. Давид был младшим сыном в семье, и старшие братья завидовали ему и пытались отстранить от активного участия в событиях, например, от битвы с Голиафом. Его упрекали в высокомерии: Не считай, мол, себя умнее всех! Но он не считал, он был умнее других, и отменить это не представлялось возможным, и вызывало страх. Ситуация, знакомая многим и в наши дни.

Что такое горе от ума, Давид узнал задолго до того, как русский поэт сформулировал эту проблему для своих современников. Давид знал, что достоинства человека далеко не всегда восхищают окружающих; столь же часто они вызывают злобу и зависть. Однажды, находясь в бегах от царя Саула, он пришел во владения царя Анхуса и притворился сумасшедшим; в другой раз намеренно поселился в маленьком городке, подальше от столицы; а когда чужой царь все же приблизил и оценил его по достоинству, случилось то, что и должно было случиться: придворные увидели в нем опасного соперника, и царь вынужден был отослать от себя Давида.

И всю жизнь Давид достойно нес крест избранности, и сверял свои поступки с волею Б-жьей, как он это понимал в соответствии с нравами того времени, а в истории с Вирсавией впервые этого не сделал. Он вдруг стал жить, как все, уступая своим мимолетным желанием, как будто Б-га не было в душе его, а если Б-га нет, то, как известно, все позволено.

Во все времена большинство людей, руководствуясь разными соображениями, строит свою жизнь. Меньшинство выбора не имеет: сознательно или нет, но, скажем, Обломов не мог быть никем иным, так же как и Бальзак. Царь Давид точно оценивал себя, ситуацию и свои возможности в будущем. У него, что называется, была своя дорога в жизни, настолько определенная,

что шаг вправо или влево означал для него побег. А побег – выстрел, убийство. История с Вирсавией была нарушением его жизненного предназначения. В предательстве себя и своей избранности состоит сугубый грех Давида. Мелкая интрижка обернулась для него нравственным преступлением именно потому, что по природе своей он был совестливым и благоразумным человеком. И, как это часто бывает в детективных историях, одно преступление повлекло за собой другое: «Поставьте Урию там, – написал царь Давид своему полководцу, – где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер».

И Урия погиб.

Вирсавия, услышав о смерти мужа, плакала, сколько положено, а когда кончилось время плача, по воле царя стала его женой. «И было это дело, – сказано в Библии, – зло в очах Господа».

Но не только Господа. Он высоко, а евреи всегда были реалистами и понимали, что должен кто-то и тут, на земле, указывать даже и царям на их проступки. В древних еврейских царствах это было прерогативой пророков, которые позже в Европе выродились в шутов.

И пришел к Давиду пророк Натан и сказал:

– В одном городе жили два человека – бедный и богатый. У бедного была одна овечка, которую он вырастил и очень любил, а у богатого было много всякого скота. К богатому забрел странник, и богатый пожалел взять из своих овец на обед страннику, а забрал овечку у бедняка.

– Вот сволочь! – с облегчением сказал Давид. – Убить мало! А за овечку и за жестокость свою пусть заплатит бедняку вчетверо!

Тогда сказал пророк:

– Паскудный богач – это ты. У тебя жены и наложницы, богатство и армия, и ты забрал жену у бедного человека – Урии Хеттеянина, а самого его послал на смерть. Не видать тебе за это счастья во веки веков!

– Да, – сказал царь и опустил голову, – меа кульпа. Я виноват.

– Ладно, – смягчился пророк, – ты не умрешь, но умрет твой сын, которого родила Вирсавия.

И ушел.

Царь Давид не очень-то поверил в это пророчество, и, когда ребенок заболел, он постился и молился, желая изменить ход событий. Он, похоже, все еще не понимал, что жизнь его изменилась и вернуться в прошлое невозможно. Умение принять свершившийся факт и действовать правильно в новой, неожиданной ситуации дается не всем и не сразу. Чаще всего человек понимает, что нельзя дважды войти в одну и ту же воду, а все-таки пробует: недавнее прошлое кажется таким безбедным, а главное – близким, что кажется – нажми на кнопку, вспыхнет свет и осветит вчерашний день. Именно кажущаяся досягаемость прошлого толкает людей на необдуманные поступки. Так, тонущий в реке плывет, задыхаясь, к своему берегу, хотя берег противоположный гораздо ближе; эмигрант, озадаченный первыми трудностями, готов вернуться на родину, хотя устроиться на новом месте легче, чем на разоренном старом. Так царь Давид посылает на верную смерть Урию. И никто из них не достигает желаемого: пловец, если останется жив, выйдет на свой берег измученным физически и травмированным психически; эмигрант, вернувшись в разоренное гнездо, столкнется не с прежней, а совершенно новой жизнью; а царь Давид, убрав Урию и женившись на Вирсавии, изменил не только свою жизнь, но

всю историю еврейских государств, потому что их вторым сыном стал будущий царь Соломон.

И вот Давид состарился, и старшие сыновья его нетерпеливо грызли удила и перебирали ногами в ожидании смерти отца. И напрасно: в высшем совете, возможно, давно уже была решена участь престола; его должен был получить младший сын, Соломон, не только по своим достоинствам и не только во исполнение обещания Давида Вирсавии: блистательное царствование Соломона подтверждало для потомков, что Давид заслужил прощение. «Ладно, ладно, – пробормотал, возможно, Создатель при встрече с царем в райских кущах, – я и сам не ангел. Чего уж там...».

Ибо сказано: неисповедимы пути Господни...

ЖЕНЩИНА И СОБАКА В ПРЕДЛАГАЕМЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Я ставлю будильник на одиннадцать, но просыпаюсь раньше, в восемь, в полдевятого, принимаю таблетку транквилизатора – ее надо разжевать, чтобы скорее подействовала, – иду в туалет, гашу свет в кладовке (я всегда оставляю его на ночь), потом захожу в гостиную, вынимаю телефон из гнезда и прячу его в маленькой комнате в кресло, накрыв старым свитером. Жалюзи в гостиной всегда подняты, иначе мои цветы погибнут без света, а окна низко над тротуаром, поэтому проскакивать в маленькую комнату и обратно нужно быстро, чтобы никто ненароком не заглянул в окно – я сплю голая. Я возвращаюсь в постель, вставляю в уши восковые затычки, ложусь на живот, согнув левую ногу в колене, и начинаю молиться: «Господи, помоги мне уснуть и спокойно проспать до одиннадцати».

Главное – проделать все это автоматически, ни на мгновение не допустить до себя реальность, не произнести мысленно ни единого слова, а то не уснешь ни за что. В это время Дёма, спавший всю ночь на полу возле кровати, вспрыгивает на кровать и ложится ко мне в ноги. Иногда удается снова заснуть и даже доспать до звонка будильника. Это удача.

Когда звонит будильник, я встаю, иду в кухню, нажимаю кнопку на кофейной машине – запровлена она с вечера, – нали-

ваю апельсиновый сок в стакан, приготовленный на подносе, там же чашка и молочник, приношу телефон, кладу его на поднос и несу все это в кровать, не дожидаясь, пока сварится кофе. Поднос у меня раскладной, на ножках и с бортиками, на нем удобно пристраивается книжка. Я раскрываю книгу на странице, заложенной с ночи, пью сок и стараюсь понять, что я читаю. Если кофейная машина недавно прочищалась, кофе варится быстро – прежде, чем я выпиваю сок. Я приношу термос-кофейник в спальню и ставлю на поднос. Дёма лежит на кровати и смотрит на меня. Он знает, что, пока я не выпью кофе, не приму душ и не оденусь, гулять идти нельзя, поэтому ждет спокойно.

В первые недели после переезда, выпив кофе, я сразу звонила кому-нибудь по телефону. Теперь я себе это запретила. Во-первых, из-за дороговизны телефона, а во-вторых, мое «кому-нибудь» – это всего два-три человека, и я больше не могу обременять их ежеутренними звонками. Изредка мне везет, и кто-то из них звонит сам. Тогда очень важно сразу взять правильный тон и, главное, не заплакать. Проверено, что если с утра заплачешь, так и будешь плакать весь день.

За кофе можно выкурить четыре сигареты из двадцати пяти, положенных на день. После кофе я должна помолиться. Молюсь я утром по правилу Серафима Саровского: три раза «Отче наш», три раза «Богородице...» и Символ веры. К этому я добавляю молитву о путешествующих, вставляя туда имя Ксюши. Она в Москве не путешествует, она там живет, но для меня если она не со мной – значит, в путешествии.

Дальше нужно приготовить Дёме завтрак и идти под душ. Мыться мне стало очень трудно – в это время начинаешь думать, поэтому под душем надо что-то читать. У меня есть старые журналы, которые не жаль забрызгать, их я и перелистываю в сотый раз. Пока я моюсь, Дёма лежит на коврик в ванной. Еда для него готова, но ест он неохотно, и пока я не сяду рядом с миской на корточки, накормить его не удастся. Одеваюсь я тоже с книжкой.

Джинсы, которые я носила раньше и дома, и на улице, истрепались, и на прогулку приходится надевать черные брюки. Они у меня одни, их надо бы беречь, но купить новые джинсы я теперь не могу.

Балкона у меня нет, а в полуподвале моем всегда сумрачно и почти не видно неба, поэтому одеваться приходится наугад, и часто оказывается, что я оделась слишком тепло. Когда все уже были в майках, я все еще ходила по утрам в пальто.

Гуляем мы всегда по одному и тому же маршруту: из подъезда направо по нашей Кайзерштрассе, потом за угол по Рёмерштрассе и через перекресток на Пюндтерплац. Там есть небольшой сквер. Внутри заходить с собаками нельзя, но с внешней стороны решеток – небольшие газоны, и мы гуляем по периметру вокруг сквера. Газоны загажены до отказа, потому что это место прогулок всех собак в округе.

Когда я переехала в эту квартиру, была зима. Сейчас зелено, трава на газонах пострижена и пахнет сеном, как всегда летом в Мюнхене. Я всю жизнь любила лето, а сейчас не дождусь, когда оно пройдет. После переезда и всего, что случилось, Дёма стал плохо переносить жару, задыхается на прогулке, а мне теперь все равно.

Во время прогулки мы встречаем местных собак, но я не подпускаю Дёму к ним, поэтому с хозяевами собак я не знакома. Знакома я только с продавцом кондитерской на углу, в которой я каждый день покупаю два ванильных круассана – это мой обед, – и с хозяйкой магазинчика, где продаются сигареты. Возле кондитерской, рядом со входом, есть табличка «Парковка для собак», и в стену вделан крюк. Я привязываю к нему поводок так, чтобы Дёма мог видеть меня через стеклянную дверь, тогда те несколько минут, которые я провожу в кондитерской – иногда я покупаю там еще минеральную воду и молоко, – он не лает.

В табачный магазин собакам входить разрешается. Всякий раз, когда мы туда заходим, Дёма получает от хозяйки собачье

печенье, поэтому он рвется в эту дверь на каждой прогулке, даже на вечерней, когда все давно закрыто.

Самое сложное на прогулке – оттащить Дёму от всех мужчин, к которым он бросается издали, принимая их за Мотю. Кроме того, у последнего поворота к дому он начинает тянуть меня в противоположную сторону, по направлению к нашей старой квартире, – во время переезда я привела его сюда пешком, и он запомнил дорогу.

С утренней прогулки мы возвращаемся в час дня. Я сразу подхожу к телефону – посмотреть, нет ли чего на автоответчике, но, как правило, там ничего не бывает.

Дальше нужно подмести, расставить вчерашнюю и утреннюю посуду в посудомоечной машине и пропылесосить в гостиной и спальне. Мне не всегда удается заставить себя это сделать, поэтому в кухне постоянно валяется по углам Дёмина шерсть. Иногда я нахожу ее даже на плите. Как она туда попадает? Может быть, это оттого, что я никогда не готовлю? В этой квартире я готовила только неделю в апреле, когда на мое пятидесятилетие приезжала Ксюша. Но и тогда готовить приходилось немного, потому что она ест самые простые блюда, которыми я кормила ее в детстве.

В ту неделю, пока Ксюша была со мной, мое существование как будто приобрело какой-то смысл, и даже стало казаться, что я смогу жить дальше. Но потом она уехала, и все стало по-прежнему. Звонит она редко, а сама я звонить ей не люблю: трубку почти всегда снимает Олег и говорит со мной так осторожно и участливо, что я сразу начинаю плакать. У Ксюши голос отстраненный и холодноватый – мне это легче. К тому же я знаю, что она никогда не любила Мотю.

После прогулки и уборки делать мне, собственно, нечего, и это значит, что наступает опасное время. Вначале, после переезда, я приносила из кладовки Мотин шарфик – единственное, что осталось в доме из его вещей, все остальные куда-то ис-

чезли после похорон, может быть, их увезли Лариса с Лешей, – складывала шарфик на столе в кучку, нюхала его и представляла, что Мотя сейчас позвонит с работы. Он обычно звонил в это время. В прошлом году пятого сентября исполнилось одиннадцать лет с тех пор, как он переехал ко мне на Изумрудную. Почему-то это число приводило его в восторг, и каждый звонок он начинал со слов: «Одиннадцать годочков вместе живем, уже двенадцатый!..» Потом я пыталась вспомнить похороны: какие лежали цветы в изножье гроба, кто во что был одет, кто и что мне говорил, но из этого ничего не получалось. Накануне отъезда Ксюша заметила шарфик в кладовке, позвала меня и медленно сказала: «Мама, я его не выбрасываю, понимаешь? Хотя и должна бы. Я убираю его в комод, и больше его не доставай оттуда. Хорошо?» Я кивнула и больше его не доставала.

Теперь, приходя с прогулки, я часто сажусь перед туалетным столиком и начинаю разглядывать себя в увеличительном зеркале. Все происходит очень быстро. Сначала резче проявились от носа к углам рта складки, которые были у меня и раньше. Потом от углов рта вниз поползли глубокие борозды, как на трагической театральной маске. Подглазья отчеркнулись жесткими темными линиями – правый глаз почему-то сильнее. На скулах появились припухлости, которые раньше возникали после бессонной ночи и исчезали, если как следует выспаться, – теперь они не проходят, даже если мне удастся проспять восемь часов, а больше спать я все равно не могу из-за Дёминых прогулок. Однажды утром я заметила, что над левой бровью, перпендикулярно к ней, залегла широкая морщина, доходящая до середины лба. Спустя несколько часов она разгладилась. Я стала следить за ней. С каждым днем она держалась все дольше и через несколько недель осталась на лбу до вечера. Она выглядит как шрам, да так оно и есть.

Теперь я знаю, что морщины не появляются внезапно: сначала где-то сгущается тень, потом прорисовывается эскиз, слов-

но выполненный тонкими карандашными линиями, и только позже – иногда спустя несколько месяцев – морщина определяется и застывает навсегда. Я смотрю в зеркало, и мне кажется, что все это временно, не насовсем, что однажды этот ужас исчезнет с моего лица, я опять увижу в зеркале прежнюю себя, и тогда снова начнется обычная жизнь. Я пытаюсь пальцами подтянуть кожу со щек к ушам – ведь всего каких-то несколько миллиметров. Удивительно, с какой зловещей последовательностью это происходит: как будто по ночам, пока я сплю, кто-то склоняется надо мной со скальпелем и уродует, уродует мое лицо.

Однажды я спросила у Лешы с Ларисой, видят ли они то же, что я, и они наперебой начали уверять, что все дело в выражении лица и глаз, что, когда я немного приду в себя, у меня будет совсем другой вид, и по их голосам сразу было слышно, что они врут.

Ксюшу я тоже спрашивала. Она помолчала, потом нехотя ответила:

– Катастрофы я пока не вижу, но, конечно, неплохо было бы сделать подтяжку. Деньги только...

– А сколько? – спросила я.

– Тысяч десять, я думаю.

– Ясно...

– Подожди, вдруг у Олега что-то наладится. Поделай массаж. Утром, после душа.

– Утром я же с собакой тороплюсь.

– Ну, вечером. Не будешь все равно.

Я тоже знала, что не буду, но два раза попробовала. Это оказалось такой же бессмыслицей, как готовить самой себе обед. Самой приготовить и самой съесть, а после обеда убрать посуду. Единственное, что мне удается, – выкладывать круассаны на тарелку, а не есть их из бумажного пакета, как я делала вначале. Леша сказал, что, если я буду питаться одними круассанами

и орехами, у меня начнутся мышечные судороги. Тогда я купила в аптеке витамины. К сожалению, я все время забываю их принимать. О транквилизаторе забыть невозможно: если его вовремя не принять, то ночью вообще не уснешь, ни в три, ни в четыре, а днем начнешь плакать и не сможешь остановиться. Однажды я плакала несколько часов подряд, а потом подошла к книжному шкафу и изо всех сил ударила головой об угол – шишка не проходила почти месяц – и только тогда вспомнила, что не приняла днем транквилизатор.

Когда возвращаешься с собакой с утренней прогулки и знаешь, что весь бессмысленный бесконечный день еще впереди, начинаешь мечтать, чтобы кто-нибудь пришел в гости или хотя бы позвонил по телефону, но за те восемь лет, что я прожила в Мюнхене, у меня появилось совсем немного знакомых, и даже те приятели, что были, разбежались от меня сразу после похорон, как будто я заболела какой-то заразной болезнью. Остались Леша с Ларисой, Ольга, Нина да еще два-три человека, и я ими очень дорожу. Только почему-то, если я заговариваю о Моте, все они сразу переводят разговор на другое. Несколько раз я пыталась поговорить о похоронах – ведь это так странно, что я ничего не могу припомнить, – но всякий раз кто-нибудь из них заводил речь о путевке в санаторий, которую предлагает мне мой врач, хотя поехать я все равно не могу: не с кем оставить собаку.

Я не только не могу куда уехать, но даже не могу сходить в магазин или к врачу: в первые же дни после переезда стало ясно, что Дёма не может оставаться один в квартире. Стоило мне начать одеваться, чтобы выйти из дома, он принимался дрожать, а как только за мной защелкивался замок, раздавался истошный визг и дверь сотрясалась от ударов. Поначалу я думала, что он повизжит и успокоится, и пережидала, наблюдая за ним в окно, но он все бился телом о дверь, скреб лапами замок, а когда не мог больше визжать, начинал хрипло лаять и кашлять, и эти за-

душенные звуки были так страшны, что я бегом бежала домой. Увидев меня, он сразу переставал лаять и, все еще дрожа, прижимался к моим ногам.

Я предприняла еще несколько таких попыток, пробовала разговаривать с ним через дверь и строго, и ласково, но добилась только того, что он надолго сорвал голос и научился догадываться о моем уходе не тогда, когда я шла к вешалке за курткой, а в тот момент, когда я только начинала об этом думать. При Моте, в старой квартире, он подолгу оставался один, и все было в порядке. Просто теперь он решил, что его выкрали из дома и Мотя по-прежнему живет там, а теперь уйду туда и я – уйду и не вернусь, и он навсегда останется один в этом страшном чужом месте. По-видимому, для него ничего не значит, что здесь стоит наша прежняя мебель и вокруг привычные вещи. Он боится. А мне невозможно уйти, оставляя за спиной отчаянный крик и удары маленького черного тела о дверь. Кроме того, соседи не станут терпеть эти дикие звуки, и нас выселят из квартиры.

Когда стало ясно, что я не могу выйти из дома, даже чтобы вынести мусор, я очень растерялась. Приходили то Ольга, то Лариса – посидеть с Дёмой, отпускали меня в магазин или в аптеку, но бесконечно так продолжаться не могло. Тогда Нина вызвала ко мне социального педагога из «Каритас». Пришла добрая смуглая женщина, и мы договорились, что по средам с Дёмой на час-полтора будет оставаться мальчик, проходящий в «Каритас» альтернативную военную службу. Дёме мальчик понравился, и теперь я всю неделю записываю на приколотом к кухонному полотенцу листке все, что нужно купить в среду, потому что забыть что-нибудь я не имею права.

Пойти вместе с Дёмой в магазин или в аптеку я не могу: при малейшем отклонении от привычного маршрута он начинает задыхаться. Теперь его даже нельзя возить к ветеринару, куда он ездил много раз в жизни, – через несколько недель после переез-

да подошло время делать очередную прививку, я посадила Дёму в такси, и у него в пути наступил коллапс. Хорошо, что это случилось уже на пороге клиники: наш врач прекратил прием, схватил Дёму на руки, добежал с ним до операционной, дал ему наркоз, начал искусственную вентиляцию легких и чудом откачал. Сажая нас в такси – Дёма еще не отошел от наркоза и висел черной тряпочкой, – ассистент ветеринара сказал, что собака, очевидно, перенесла тяжелый стресс и отныне может находиться только дома, но не одна, а с кем-то или гулять по отработанному маршруту не более получаса. Поэтому мы гуляем только вокруг сквера, а к церкви Святой Урсулы, где больше зелени, просторнее газоны и не так много собак, повести его я боюсь – туда нужно идти в противоположную от подъезда сторону.

Если бы была жива мама, она оставалась бы с Дёмой, и я могла бы спокойно идти в магазин или к врачу и, может быть, нашла бы какую-то подработку, чтобы не приходилось экономить на сигаретах и еде и можно было купить новые джинсы. Если бы со мной была мама, все вообще было бы по-другому. Но мама умерла за восемь месяцев до Моти. Перед смертью, уже с помутненным сознанием, она несколько раз сказала мне: «У нее недоброе лицо...» – а я не спросила, о ком она, – решила, что это бред. Теперь я часто думаю: может быть, она говорила об Анне – есть какая-то Анна, которая желает мне зла, и из-за нее все мои беды, но я не могу вспомнить, кто это. На Мотиных похоронах ее, по-моему, не было.

Странно, что мамин похороны я помню очень подробно. Мотя все время держал меня за руку и спрашивал шепотом: «Ты в порядке?» – и я кивала. На Ксюше была моя черная юбка, в которой я ходила в церковь, и черная майка с маленьким крокодилом слева на груди. Юбка была ей коротковата, и она ее все время одергивала. День был теплый, но, когда маму начали забрасывать землей, сбегались густые облака и задул холодный ветер, я испугалась, что Ксюша замерзнет, и хотела набросить на нее свой пиджак, но она дернула плечом, а я вспомнила, что

мама в таких случаях всегда говорила «оставь ее в покое», и отошла.

Кадиш над мамой читал Леша – у него давно умерли родители, а человек, у которого они живы, читать кадиш не может. Наверное, над Мотей тоже читал он, но точно я не помню.

Мамина могила возле ограды, в самом дальнем конце кладбища, над ней растет рябина, а в головах – вечнозеленый куст. Пока Мотя был жив, я ездила на кладбище каждую неделю, иногда вместе с ним, мы привозили маме розы, в начале лета посадили на могиле бегонии, а к зиме Мотя выложил холмик еловыми лапами и поставил большую керамическую вазу с еловыми шишками и сухими цветами.

У Моти на могиле я после похорон ни разу не была, кажется, это недалеко от мамы – там ведь несколько рядов эмигрантских могил. Леша говорит, чтобы я ни о чем не тревожилась: он следит за могилой, и там все в порядке. Я все равно не могу туда поехать – мне не с кем оставить собаку.

Когда в апреле приезжала Ксюша, она ездила на кладбище. Я хотела, чтобы на следующий день она посидела с Дёмой и я тоже могла бы съездить, но у нее были дела в городе. Она купила для мамы много мелких белых роз, которые мама любила. Я спросила у нее, подходила ли она к Мотиной могиле, но она промолчала. Когда Ксюша о чем-то не хочет говорить, ее невозможно заставить, и я больше не стала спрашивать.

Уезжая, Ксюша собиралась второпях и забыла свою новую длинную юбку в крупный горох. Я повесила ее в свой шкаф и теперь глажу каждый день, после того как съем круассаны: когда Ксюша приедет, она сразу сможет ее надеть.

Выгладив Ксюшину юбку, я сажусь читать. Читать нормальные книги я не могу и читаю только детективы. Мне приносит их Лариса, и два раза я заказывала книги по русскому каталогу, когда там объявляли распродажу. Почти все они плохие, но для меня главное – скользить глазами по строчкам. Читая об убий-

ствах, я пытаюсь понять, кто же убил Мотю, – ведь у нас не было врагов, а грабить его не было смысла: он ехал домой с Берлинского фестиваля, и у него было с собой тридцать марок. Кажется, следствие ничего не установило.

Некоторые книги я совсем не могу читать – те, в которых встречается имя Анна или действует рыжеволосая героиня. Мне становится страшно. Иногда мне снится женщина с пышными рыжими волосами и продолговатым бледным лицом. Она что-то делает мне во вред, но я не понимаю – что, и не знаю, как ее остановить.

Я знаю, что, когда приходит страх, надо молиться. Я открываю молитвенник на девяностом псалме – он помогает во время бедствия и при нападении врагов – и читаю его, дохожу до конца и снова читаю. «Не убоишия от страха ночнаго, от стрелы летящие во дни, от вещи во тме преходящие, от сряща и беса полуденнаго...» Я повторяю и повторяю эти слова, но страх не уходит, и я боюсь и ночного страха, и дневной стрелы, и особенно «вещи во тме преходящие», и у меня возникает странное чувство, что я что-то забыла. И я стучусь и стучусь в мертвые небеса.

За окном начинает темнеть, и я понимаю, что день идет к концу. Тогда я начинаю поливать цветы. Их у меня много: три пальмы-юкки, большой фикус, маленький фикус, «декабрист», хлебное дерево и несколько горшков фиалок. Цветы тоже плохо переносят переезд – им не хватает света, и у меня больше нет балкона, чтобы выставить их летом на воздух. Чтобы они не погибли, с ними надо побольше разговаривать, но я не могу и только говорю им: «Потерпите, потерпите...»

Потом я долго сижу и смотрю на лампу над столом, и мне кажется, что плафон в форме тюльпана, взамен разбитого зеленого, купил Мотя, хотя я понимаю, что этого не может быть: ведь я переехала в эту квартиру после похорон. Все это так странно. Потом наступает полночь.

Я кормлю Дёму, вывожу его на вечернюю прогулку, вернувшись, запираю дверь на два поворота ключа и на цепочку, засыпаю в кофейную машину кофе, готовлю на утро поднос, принимаю транквилизатор, моюсь и ложусь. Ложусь я всегда на самый край, чтобы во сне не оказаться случайно на Мотиной половине кровати. Пока действуют таблетки, проходит около часа, но я стараюсь не засыпать подольше. В это время я читаю, курю и ем орехи, и жизнь становится немного похожа на настоящую, потому что в прежней жизни я тоже курила и читала в постели и всегда что-нибудь ела. Когда строчки начинают сливаться, я гашу лампу – свет в спальню проникает из открытой двери кладовки, – говорю Дёме «спокойной ночи» и закрываю глаза. Темнота внутри меня начинает медленно кружиться, и я кружусь вместе с ней.

Вдруг раздаётся телефонный звонок – это позвонил Мотя. Он позвонил, когда мы вернулись с утренней прогулки. Голос звучал как чужой, но я сразу его узнала.

– Послушай, что же ты творишь? От меня люди шарахаются на улице! Шурик Фишер позвонил и спрашивает: «Это правда, что ты жив?» Почему я должен это выслушивать?

Я молчала.

– Ведь ты не сумасшедшая, я знаю. Ты не сумасшедшая! – заорал он вдруг.

– Нет, – сказала я.

– Ты никогда не желала принимать реальность, так теперь тебе придется ее принять, слышишь? Я не умер, ясно? Прекрати меня оплакивать как невинно убиенного! Меня не хоронили на еврейском кладбище, надо мной не читали кадиш, ничего этого не было, я ушел от тебя, пойми наконец.

– Нет, – сказала я.

– Что «нет»? Что «нет»?

– Нет. Ты не мог от меня уйти. Ты говорил, что никогда от меня не уйдешь.

– Мало ли что я говорил. Мало ли кто что говорит. Послушай, – сказал он ласково, – а что, если ты попробуешь посмотреть на все иначе? В конце концов, с твоей биографией... Ну, мужем больше – мужем меньше, подумаешь! Ты, может быть, еще раз выйдешь замуж.

– Нет, – тупо повторила я.

– Что опять «нет»?

– Тебя нет. Если бы ты был, сам подумай, разве ты допустил бы, чтобы мне было так плохо.

– Чем тебе так уж плохо? Все, что я должен был для тебя сделать, я сделал. Я снял тебе квартиру, все устроил, у тебя все есть, собака с тобой. Чего тебе не живется? Миллионы людей уходят от жен, и никто от этого не умирает и других не убивает.

– Я тебя не убивала. Просто этот винтик в очках, который раскручивается, и ты вечером его всегда завинчивал, а я без очков его не вижу, и надо на ощупь, и тогда я поняла, что ты умер, иначе такого никогда бы не случилось.

– Да сходи в оптику, тебе там заменят винтик. Анна не зря говорит, что твоя мнимая беспомощность – идеальный способ паразитировать на близких.

– Анна?

– Не прикидывайся идиоткой, все ты прекрасно понимаешь и помнишь.

– Да, помню, да. Анна. Конечно. Хорошо, я все поняла. Прости, я больше не буду.

И я положила трубку.

Встала, сняла тапочки, надела туфли, пристегнула Дёме поводок. Дёма удивился неурочной прогулке и уткнулся носом в дверь. Долго искала в кладовке совок, с которым ездила раньше на мамину могилу, не нашла и взяла в кухне лопатку для торта. Достала из нижнего ящика комода Мотин бежевый шарфик, накинула его на шею, сунула в карман ключи, вышла с Дёмой из дома и захлопнула дверь.

На улице светило солнце, и сквер был полон детьми. Я привязала Дёму к решетке, погладила его и попросила: «Не лай, пожалуйста, тебе все время будет меня видно». Вошла в сквер через низкие воротца, прошла в дальний угол, где в тени большого клена земля оставалась влажной после ночного дождя, села на корточки и начала копать землю лопаткой для торта. Ямка вырылась легко. Я сняла Мотин шарфик, свернула в трубочку и положила на дно ямки. Оглянулась на Дёму. Он сидел напряженно, до отказа натянув поводок, но молчал. Я забросала ямку землей, выпрямилась и секунду постояла.

Солнечные лучи, проходя через резную листву клена, ложились сложным узором на чернеющий среди травы пятачок утоптанной земли. Я вернулась к Дёме, отвязала поводок от решетки и пошла к дому. Было не жарко, и когда мы дошли до подъезда, Дёма почти не запыхался. Я слегка потянула его за поводок вперед, мимо нашего дома, он охотно подчинился, и через несколько минут мы были уже возле церкви. Церковь была сложена из красного кирпича, с зеленым куполом и стройной колоколенкой. Четыре колонны по фасаду, затейливый фриз и яркая фреска на фронте. На фреске был изображен белый агнец, два ангела, справа и слева, протягивали к нему руки. Ангельские крылья покрывал цветной мозаичный орнамент.

Перед мраморными ступенями церкви начинался просторный газон, разделенный посередине дорожкой. По одну сторону от нее рос старый ясень, длинные сережки его почти касались травы. По другую – мощный куст жасмина, весь покрытый светящимися атласными соцветиями.

Дёма бросился к кусту, остановился, насторожил уши и попятился. Я подошла и заглянула под куст. Показалась узкая мордочка, блеснули на солнце серебряные кончики иголок. Под кустом сидел еж. Дёма тьякнул, сделал стойку и замер. И точно в такой же позе, чуть приподняв левую переднюю ножку с легким копытцем, замер на фронте церкви белый барашек с золотым нимбом над кудрявой головкой.

УТОЛИ МОЮ ДУШУ...

Лето было жаркое. Маленькая квартирка к вечеру прогревалась до сорока градусов – страшно было взглянуть на настенный термометр. Марина развесила мокрые простыни на всех внутренних дверях, но толку было мало.

По ночам спальню наполняли тучи комаров. Вялые, тоже, наверное, разморённые, они почти не кусались, но заснуть под непрекращающийся звон было невозможно.

Марина лежала, натянув простыню на голову, оставив лишь щёлку возле рта, сонные мысли шли по кругу. «Что же делать? Нельзя ведь сказать мужу – я тебя не хочу, меня к тебе не тянет. Он инвалидом станет. Такую травму – нельзя, грех. И как я объясню Насте, когда вырастет? А сейчас как объясню? Но так тоже нельзя. Мне ж не шестьдесят, что же – ставить на себе крест? Так как тогда?...»

Вставала, била комаров свёрнутой газетой, на стенках оставались кровавые пятна, брала замызганный синий томик, читала вслух:

... Утоли мою душу! (Нельзя, не коснувшись уст,
Утолить нашу душу!) Нельзя, припадая к устам,
Не припасть и к Психее, порхающей гостье уст...
Утоли мою душу: итак, утоли уста.

«Ну вот», – думала она, – «значит, я не холодная развратница. Это ж всё едино – тело, душа... Лучше бы тогда он меня вообще не трогал – я бы просто отвыкла от этого, так бы и жила. Живут и без этого. И лучше так, чем – не в радость.»

Звенели комары. Ночь шла, душная, бесконечная. В листве дерева, заслоняющего окно, висела ушербная луна, под утро тихонько засвистал дрозд.

Днём позвонила мама.

– Мариша, Мина из Одессы звонила, они уезжают, всё.

– Ну, слава Богу, наконец. Сколько они просидели – два года почти?

– Три. Она страшно нервничает, Золик плохо себя чувствует, не знают, как соберутся. У него сердце сдаёт.

– Сдаст, конечно, посиди столько в отказе.

– Доченька, не болтай лишнего.

– Мама, ни для кого – понимаешь? – это уже не секрет. Уже всё равно.

– Так вот, слушай, самое главное, они Валика отправляют в Москву на неделю, он же с тех пор ни разу не был. Кремль посмотреть, по театрам, со всеми попрощаться.

– Так ко мне, что ли?

– А ты против? Я же целыми днями на работе, надо ему внимание уделить, походить с ним везде.

– Ой, ну мам... Да я не против, но такая жара, и какие сейчас театры, просто по городу с ним целыми днями бегать... Когда он приезжает?

– Завтра утром, поезд приходит в пять.

– Так он в шесть здесь уже будет. Прелестно. Сколько ему сейчас – пятнадцать?

– Семнадцать уже. Когда они приезжали, ему было шесть, а это – за год до бабушкиной смерти.... А ты ложись раз в жизни пораньше.

– Да я лучше вообще ложиться не буду, чем в такую рань вставать. Ладно, пойду за жратвой – его же ещё кормить надо. Всё, пока.

Валик появился только в двенадцать. Марина, не спавшая ночь, взвинченная, бродила по дому, пыталась дозвониться в справочную вокзала, чтобы, по крайней мере, узнать, пришёл ли поезд, и с ужасом ждала междугороднего звонка, после которого должна была начаться настоящая паника.

– Ты где был? – заорала она на него, не поздоровавшись.

– Я гулял.

– Где? Почему?

– Я боялся тебя разбудить. Все родственники говорят, ты раньше двенадцати не встаёшь. Я на Красную площадь ездил. Оказывается, ничего не помню.

– Ну, ты даёшь! Ладно, идём есть. Дай, я на тебя хоть посмотрю. И не очень изменился. Я бы тебя узнала, – соврала она.

– А я тебя – нет. Ты очень красивая.

– Мерси. А была – нет, что ли?

– Да. Но ты тогда школу кончала, а теперь взрослая.

– Лапушка, у меня Настя в этом году в школу пойдёт. Я ж тебя... на сколько? На девять лет, получается?

– Да. Ваша ветвь энергичней размножается. Бабушки-то были погодки.

– Ты всю родословную нашу помнишь? Молодец. Их же девять душ было – я путаюсь.

Мальчик был забавный, узенький, но с широкими прямыми плечами. Длинные рыжие глаза, тёмно-бронзовые фамильные кудряшки, и весь в крупных веснушках.

– Слушай, а Валик, это что же – Валентин или Валерий? А то всегда «Валик», я и не знаю.

– Нет, это – Алексей. Это, когда я маленьким был, так себя называл – так и пошло. А где твои? А вы не собираетесь уезжать?

– Мои на даче. Уехать мы не можем – мой отец против. Хорошо, доедай, Алексей, и поедем опять в центр, тем более что ты не помнишь ничего. Я в прошлом году курсы экскурсоводов закончила, всё тебе изложу, как есть, и вполне профессионально.

– Лучше Валиком зови. А ты почему не ешь?

– Я так рано не могу.

– Значит, правду сказали... – улыбка у него была совершенно младенческая – милая и хитрая.

Целый день бродили по плавящемуся от жары городу, ели мороженое, вафли и пирожки «с котятками», пили газировку из одного стакана, потому что Марина, с её патологической брезгливостью, по полчаса отмывала стакан в автомате, и не было уже сил мыть второй, в какой-то незамеченный момент взяли за руки и так и ходили, сжимая влажные руки, смеялись до упаду, передразнивая прохожих, – у Валика оказался талант имитатора, – болтали на скамейках в Парке Горького, потом, уже в сумерках, заблудились в каком-то глухом уголке парка, и Марина почувствовала его узкую твёрдую ладонь на своём затылке.

«Это что же», – сжалась она, – «это – нельзя! Он – родственник, он маленький совсем, почти ребёнок... Невозможно!»

Но через секунду его запах, его детские губы, жар, идущий от его тонкого, нагретшегося за день тела, застлали все мысли.

Они целовались до тех пор, пока у неё не сработал внутренний будильник, напомнивший, что скоро отойдёт последний поезд метро.

Домой ехали молча. Она понимала, что надо немедленно поставить какой-то барьер, не то будет поздно, и, открыв дверь, холодно сказала:

– Я сейчас в душ и тут же спать – чуть не двое суток на ногах. Там бельё тебе в детской приготовлено, стели на диване и тоже ложись, ты ещё и с дороги не отдохнул.

– Я и не устал.

– Ну, как хочешь. Возьми тогда что-нибудь почитать. Может, поешь, сыр и ветчина в холодильнике, хлеб в среднем шкафчике. Всё, я в ванную.

С полчаса, поливая себя прохладной водой, она твердила: «Нельзя и не надо. Нельзя и не надо... Но, Боже мой, какой мальчик прелестный. Нет, ну нельзя же!»

Она на цыпочках прошла в спальню, закрыла за собой дверь и взяла книжку. В ванной полилась вода. Она вздохнула и попыталась читать. Строчки плавали.

Через пятнадцать минут дверь приотворилась. «Закрой сейчас же!» – хотела крикнуть она, но почему-то промолчала. Валик, в чёрных тесных плавках, весь покрытый каплями воды, – она сообразила, что позабыла дать ему полотенце, – подошёл к кровати, сел на пол в изножье, приподнял простыню, прижался лицом к Марининой ступне и заплакал.

Утром было легко, беззаботно, весело. Хохотали в душе, хохотали за завтраком, Валик рассказывал уморительные одесские анекдоты, имитируя акцент, которого почему-то не было в его речи, собирались поехать в Архангельское, но так и не вышли из дома. Только под вечер прогулялись немного под тёмными деревьями, шурующими от ветра, и торопливо вернулись.

«Как странно», – думала она, когда, под утро, он заснул, – «ведь вот он – мальчик, он неопытен, он ничего особенного не может и не знает, но какая точная интуиция, как он чувствует ме-

ня, какое тепло от него, какая радость. Какой он свой. Как ни один. Странно».

На пятый день Валик поехал в центр за покупками к отъезду. Он ещё не возвращался, когда раздался телефонный звонок.

– Доченька, что всё это значит? – мама чуть не плакала. – Звонила Мина, она в совершенном отчаянии, Валик им позвонил с Телеграфа, сообщил, что никуда не едет и вообще остаётся в Москве. Что происходит?

– Мама... да я... понятия не имею.

– У вас роман? Ты что, с ума сошла?

– Да мама, ты что, какой роман. Это не роман...

– Марина, прошу тебя, это не шутки, у людей жизнь рушится. Я не говорю о тебе, ты, в конце концов, взрослый человек, я понимаю, что с Сашей у тебя уже не склеится, но ты отдаёшь себе отчёт, что будет, если мальчик всерьёз заартачится? Им же гибель тогда. У Золика будет инфаркт, и вообще, это катастрофа.

– Мама, я всё поняла. Он не заартачится, не беспокойся. Всё будет в порядке.

Я же не идиотка.

– Спятил? – набросилась она на него, едва он переступил порог. – Что за шутки?

– Какие шутки?

Ты зачем домой звонил? Что ты наговорил? А если у отца инфаркт сейчас? Действительно, что ли, с ума сошёл?

– Это ты, по-моему, сходишь с ума, – возразил он тихо, – ты не поняла разве, что мы должны быть вместе? Конечно, будет сложно, но проблемы решаются, а жизнь-то останется.

– Какая ещё жизнь? Какая у нас может быть жизнь? Тебе учиться надо, а не... а не жениться – бред! У меня ребёнок, я замужем, в конце концов... Мы – родня, у нас разница в девять

лет, да и вообще, о чём мы говорим, когда вы уезжать должны! Ты что ж думаешь, я могу так подставить твоих родителей?

– Зачем ты всё это говоришь? – ещё тише спросил он, и веснушки проступили на лице тёмными пятнами. – Разве я этого не знаю? Но ужасно то, что ты говоришь только об этом. Значит, на другой чаше весов для тебя ничего не лежит. Тогда ты права, и прекратим этот разговор. Ты просто ничего не поняла. Я бы всё сделал, как надо. Я бы и учился, и работал, и Настю воспитал. А родители всё поняли бы. Они меня любят.

– Валик, это просто детский лепет... – начала она и осеклась, потому что он побелел уже до синевы, – ладно, не обижайся. Послушай, у нас осталось ещё два дня, давай их не портить. Иди сюда.

Расставались в метро. Он не хотел, чтобы она видела уходящий поезд. Марина плакала, он стоял молча, неподвижно.

– Ну, прощай, – сказала она, – не забывай меня.

– До свидания, – сухо ответил он, – не забуду, не беспокойся.

Потом был единственный звонок из Нью-Йорка, треск и шорох перекрывали голос, она услышала только: «Мы увидимся, мы увидимся...» Подумала – какая чушь, никогда мы не увидимся, никогда больше я его не увижу. Подумала и пошла принимать валокордин, потому что вдруг отчаянно заболело сердце.

Марина металась по перестроечной Москве – из посольства в посольство. Город гудел слухами об эмиграции, то у датчан, то у голландцев раздавали какие-то сомнительные анкеты.

Въезд в Штаты по израильским визам был уже прекращён, но в американском посольстве тоже выдавались анкеты – правда, говорили, что это делается только, чтобы создать видимость про-

должения еврейской эмиграции, а выехать по ним можно будет, хорошо, если через пять лет.

Марина всё же отстояла там многосуточную очередь, получила пачечку жёстких голубоватых листков, – на себя, маму и Настю, – и оставила лежать на секретере – не верилось как-то в них.

Она понимала, что долгожданную возможность отъезда надо использовать немедленно, что дверь, внезапно приоткрывшаяся, в любую минуту может быть захлопнута, но не видела реального выхода и начинала впадать в панику.

Дождливым весенним вечером, когда она, после очередного тура бессмысленной беготни по городу, отогревала промокшие ноги, засунув их в духовку, зазвонил телефон.

– Марина, ты?

– Я.

– Ну, привет.

– Привет. А кто это?

– Не узнала?

– Честно говоря, нет.

– Это Алекс Герберг.

– Кто? Герберг? Который? У нас их... Валик? Боже, откуда ты взялся? Ты из Нью-Йорка звонишь?

– Из гостиницы «Россия».

– Быть не может! Как же... Почему ты не предупредил? Как мама? Про папу я знаю.

– Тебя невозможно предупредить, вас никогда дома нет. Я звонил даже с аэродрома. Почему у тебя нет автоответчика?

– Какой автоответчик? Как мама?

– Может, всё-таки, я тебе не по телефону расскажу? Ты можешь сейчас приехать? Я пришлю машину. Настя дома? Привези, я ведь её никогда не видел. К твоей маме я завтра подъеду, посидим все вместе. Всё, даю адрес шофёру, до встречи.

Марина сидела рядом с дочкой на заднем сиденье белой «Волги» и лихорадочно считала: «Ему было тогда семнадцать, сейчас, стало быть, тридцать два. А мне было двадцать шесть, ну да, если Насте – семь. Пятнадцать лет, Боже, пятнадцать... Если б знать, хоть постриглась бы. Интересно, меня узнать, вообще-то, можно? Ужас, пятнадцать... Вот будет потеха, если он западёт на Настю, а может быть вполне, он же не без глаз, и возраст...». Она покосилась на дочь, которая, тихонько насвистывая, гасила в пепельнице уже вторую сигарету.

– Что, мам? Ты что-то нервничаешь.

– Ничего я не нервничаю. Куришь много. Мы пятнадцать лет с ним не виделись, представляешь?

– Долгонько, да. Он уехать-то поможет?

– Не знаю. Попросим. Если удобно будет.

В гостинице пахло американским табаком и горькими духами. Ужин

Валик заказал в номер. После ужина Настя разбирала чемодан с подарками, вела себя, к облегчению Марины, мило и достойно – восхищалась в меру, спокойно благодарила.

– Хорошенькая, – сказал Валик, глядя на неё, – очень, но на тебя совсем не похожа.

К полуночи Настя посмотрела на подаренные часики.

– Дядя Алекс, у меня утром семинар, не прогуляешь. Можно, я поеду, а маму вы же на машине всё равно отправите?

– Поезжай ты на машине, возьми чемодан, а маме я потом такси вызову.

Когда за Настей и шофёром хлопнула дверь, Марина сразу закрыла глаза.

«Совсем чужое лицо, но, может быть, запах...» Твёрдые губы прижались к её рту. Она почувствовала запах туалетной воды – лимон и мята.

– Ты хочешь в Америку? – спросил он, когда она оделась. – Теперь ты можешь ведь сделать загранпаспорт?

– Хочу. Могу.

– Я оформлю бумаги, приедешь, потом будешь вызывать маму и Настю. Я дам денег на адвоката.

– А почему нельзя сразу втроём? Это дороже, чем адвокат?

– Не дороже, а сложнее и рискованней.

– Нет, одна я не поеду.

– Зря. Подумай ещё. Помнишь, ты просила не забывать?

Я не забыл.

– Я тоже. Вызови такси.

«Он стал великолепным любовником», – думала она, глядя в мокрое стекло машины, – «просто блестящим. Но это уже не он. Всё исчезло. А что это было? Ведь было... «Утоли мою душу... Утоли мою душу...»

Назавтра Настя пошла к бабушке одна, Марина отговори-лась мигренью. Через два дня Алекс улетел в Нью-Йорк, а через год Марина с мамой и Настей уехали в Германию.

Ирина Стекол

ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА ВО ФРАНКФУРТЕ

А. К.

Медленно, бесшумно открывается дверь, ведущая из темной комнаты в другую, такую же темную. Почему меня преследует эта медленно открывающаяся дверь? Дверь и не думала открываться – она была открыта: дверь, ведущая из одной темной комнаты в другую, такую же темную.

В темном проеме возник силуэт – темный на темном, черный на черном.

«В черной-пречерной комнате...» – начиналась детская «пугалка». В этой черно-пречерной комнате, в теплой темной комнате меня дрожня била дрожь: так колошматило, что зуб на зуб не попадал. Сбросить чужой халат и наощупь добраться до постели... Путь необозримо долог – от кресла, где кончики пальцев моей опущенной руки еще прикасаются к шелку халата, до запретного, недостижимого даже в снах ложа, на котором мне, в результате обмена ничего не значащими полушутливыми фразами предстоит спать в эту ночь.

Я не пройду этот путь до конца. Темный силуэт пересечет мне дорогу – и жизнь прервется. Но я этого еще не знаю. Я разжимаю сведенные судорогой пальцы, я наугад кладу халат в кре-

сло, я тряусь от озноба и веду с собой лицемерный, отвратительно фальшивый диалог:

– Ничего не будет, не надейся.

– Мне и не надо, упаси Бог!

– Вот и не надейся, ложись и спи.

– Вот сейчас и лягу. Но спать, конечно, жалко. Можно просто так полежать. И ведь будет еще утро. А сейчас я полежу, я так спокойненько полежу...

И я делаю первый шаг.

В темном дверном проеме – темный силуэт. Нет! Я этого не хотела!

Задыхаюсь. И делаю второй шаг. Но это – шаг навстречу и шаг – за... В темноте темные теплые руки смыкаются за моей спиной, и мои поднимаются синхронно, словно связаны две марионетки одной ниточкой. Почти машинально, как в тысячный раз: так спокойно, так привольно, так легко.

– Вы... Я... Надеюсь...

Понимать вроде понимаю, но ответить – лишь «вва-вва-вва...» – так колотит. Темнота разреживается, становится заметен свет из окна.

– Я... Нет... Ни разу... Нет...

А руки мои делают свое несуетное, вроде бы привычное дело: скользят тихо вверх-вниз-вбок, как будто – что за оказия? – не знакомясь, а узнавая. Будто каждый день перед сном: тут гладенько, тут шершавость, тут, тут...

Вселенная с беззвучным свистом скручивается в воронку: брошенный в нее влажный тугой комочек ваты обречен теперь вечно совершать миллиардно-километровые круги, пока однажды ночью, сорвавшись с орбиты и невообразимо увеличившись, не рухнет он на меня, и под гигантской тяжестью я задохнусь, задохнусь...

– Я задохнусь...

– Ну, ну, не преувеличивай!..

Жалкие обрывки слов, нежные шершавинки под пальцами, судорога, пронзившая левую ногу – как под водой.

Русалочка, Русалочка, бедная малышка, ты владела любимым всего лишь несколько минут, только те несколько коротких минут под водой, ты, глупый недоростыш, не нужна на суше, ты не нужна, не нужна. Там, на набережной с разноцветными фонариками, день и ночь звучит музыка, кружатся пары, там светятся милые глаза его невесты, ты же обратишься в морскую пену, в белые ключья морской пены, и даже следа не останется от тебя у этих берегов, чужих, жестоких, грязных. Солнце высушит влагу, беззвучно лопнут последние пузырьки – ты никогда не станешь взрослой. Это хорошо, что кудри твои коротко острижены, хорошо, что ты не можешь говорить, и петь не можешь, а когда-то, ты помнишь, твой голос и, помнишь, гитара... Не пой при нем никогда, не пой, красавица, не пой, глупышка, ведь ты такая маленькая, ты ненастоящая, и ножки твои похожи на рыбки хвостики, ты же такая смешная девка, молчи, дурочка. Молчи, молчи.

– Я молчу, молчу, нет, я не закрываю глаз, я смотрю, я смотрю, я смотрю...

Я смотрю. В желтом свете законного фонаря надо мною – лицо смерти. Оскаленные зубы, провалы глаз, вздернутый нос. Если ты – смерть, и ты пришла за мною, то возьми меня. Только скорей, скорей, вот сейчас, ну? Ну!!!

Аптека стояла в глубине огромного двора, огороженного высоким забором с широкими, всегда распахнутыми воротами. От ворот шла дорожка к аптечному крыльцу – бревенчатому и низкому, как и само здание. Все остальное был пустырь с несколькими старыми соснами, весь заросший густой высокой травой.

Это был «аптечный двор». Посреди него возвышалась поленница из длинных круглых стволов – мертвых сестер уцелевших сосен. Поленница стояла там так давно, что стволы слежались, заняли оптимально устойчивое положение и превратились как бы в некое строение, прочность которого почти не вызвала сомнений, так что без особого труда удалось добиться разрешения лазить по ним, затаскивать туда игрушки и подолгу сидеть по вечерам, глядя, как солнце навсегда опускается за крышу аптеки. Это называлось «сидеть на дровах».

От дорожки ответвлялась узкая тропинка, ведущая к правому крылу аптеки, стоящему несколько уступом и огороженному забором пониже, с шаткой калиткой на массивных ржавых петлях («Не качайся на калитке. Не качайся на калитке!..»). Пространство за низким забором было – «наш двор». Правое крыло аптеки называлось «наш дом», хотя это была лишь половина дома, может, даже меньше, чем половина.

Мы жили тут всегда и будем – всегда. Потому что дедушка ушел отсюда на фронт и там погиб. Фронт – это тесно, далеко и трудно. Погиб – это очень красиво. Я тоже когда-нибудь обязательно погибну. Погибну, а не умру, потому что «умру» – это падать в черную воронку, и тошнит. А «погибнуть» – яркий взрыв.

Мы – это бабушка, мама, тетка, ее дочка Танька и я. Мы – женщины. Мужчины – совершенно другие. Когда у нас жил родственник Яша из Баку и еще другой Яша, из Одессы, я подолгу смотрела по утрам, как они бреются.

Яша из Одессы брился узким толстым ножом, который потом вкладывался в черную ручку. Однажды он порезался и тер лицо светло-желтым камнем, похожим на мыло, но в тот же день я попробовала его с водой, и он не мылился.

Яша из Баку брился странным аппаратиком. Этот аппаратик я однажды нечаянно развинтила на три части и решила, что ему теперь конец, хотела быстро куда-нибудь спрятать, чтобы поду-

мали, что потерялся, но вошла бабушка, взяла части у меня из рук и в секунду свинтила обратно.

У Яши из Баку было много необыкновенных вещей. Самое лучшее – золотое желтое полотенце с розами и райскими птицами. Оно мне несколько раз снилось. Один раз я почувствовала такой приступ любви к этому полотенцу, что среди дня расстелила постель, разделась и легла, прижимая скатанное в жгут полотенце к голому телу.

Я всегда могу лечь и сказать, что заболела, и тогда меня в этот день уже не будут ругать, и можно сколько угодно лежать и читать. Потому что я шесть раз болела воспалением легких, а в последний раз врачиха сказала, что у меня в груди такие хрипы, как будто я джаз проглотила. Но вообще, говорить, что заболела – невыгодно. Читать и так можно сколько угодно, а гулять потом не выпустят, или наденут столько, что и гулять не захочешь.

Когда Яша из Баку уезжал, он оставил мне свое полотенце с розами и птицами, хотя не знал, что я брала его с собой в постель – никто не знал. Больше я его и не беру: во-первых, с тех пор как оно стало мое, я его немного разлюбила, а во-вторых, если заметят, опять будут говорить, что я странная, а это я терпеть не могу. Когда мама в прошлое воскресенье сказала, что это очень странно, если человек сидит на яблоне весь исцарапанный и изодранный и при этом читает Шарлотту Бронте в моем возрасте, я ей сказала, что если я странная, то не странен кто ж: И она на меня посмотрела вообще как на сумасшедшую. Сто раз давала себе слово ничего им не говорить, с тех пор, как рассказала про кокосовый орех, который упал мне на голову в парке, а они сказали, что это – наглое вранье. Когда ясно, как белый день, что это не вранье, а *история*.

Яша из Баку хотел жениться на моей маме. Она ему – двоюродная тетя и старше его на пятнадцать лет. Я – троюродная сестра и младше на пятнадцать. Никто не знает, что я в него влюб-

лена. Он похож на Овода, у него необыкновенные нижние ресницы, и от него немного пахнет моим отцом.

Когда мама окончательно отказалась, он купил себе овчарку Джима и уехал с ней обратно в Баку. Овчарка несколько последних дней жила у нас вместе с Яшей. После их отъезда я каждый день ходила рыдать в сарай, представляя себе это счастье, если бы мама согласилась, и я жила бы в Баку с любимым и его овчаркой. Но все разрушено навсегда, и жизнь кончена. Можно только сидеть на дровах и вспоминать овчарку Джима: какие у него прекрасные круглые глаза, и как он давал мне лапу на прощанье.

Яшу из Баку я на дровах не вспоминаю, а вспоминаю всегда перед сном, когда в нашей комнате гасится абажур, мама выходит в кухню, и оттуда, сквозь стеклянное окошечко над дверью, по потолку протягивается косая полоса света к тому углу, где стоит моя кровать.

Выныриваю из-под очередной волны и жадно вдыхаю, но тут же дыхание опять прерывается. Разлепляю глаза: надо мной – оскаленная улыбка, пальцы стиснуты на моей шее:

– Горлышко такое хрупкое, это всегда так заманчиво...

«Задушит!» – радостно понимаю я и снова закрываю глаза. И тут же разжимаются пальцы. Покорная добыча – не добыча. Конечно. Ах, не умею я играть в эти игры – так и не научилась, а ведь могла бы. Сейчас, когда окончены все игры, как пригодились бы хоть хвостики – противные, изощренные, необходимые рефлексy, досконально известные, сто раз преподанные другим, которые – смогли...

Сердце бьется сейчас не в груди – между ногами, болезненными, екающими ударами, расходящимися по телу, как круги по

воде. И это сердце, мое сердце сжимает жадный горячий кулак, жестокий огненный кулак между моих ног.

Злой окрик: «Открой глаза, открой, я тебе сказал!»

Господи, да что же это – ни капли жалости в нем! Закрывать глаза, уплыть в это горячее, соленое, покачаться на волнах, раскинув руки, потом судорога – и медленно погрузиться в глубину, тихо, тихо опуститься, и только круги... А внизу яркие водоросли, блестящие камешки, скользкие разноцветные рыбки, покой, покой... Нет, за сердце схватив, тащит наружу.

– Убей, ну, убей же, пожалуйста! – но это под водой, внутри рта.

И дикая мысль, что жизнь будет продолжаться: есть, пить, ходить, надевать на это, жгущееся, пульсирующее между ног, трусы, двигать руками, ногами, головой, говорить слова. Смыть привкус родной соли по рту, выбраться на каменистый берег, тело обретет привычную ненавистную тяжесть, вдали готические шпили, долгий ненужный путь звонкими мощными тротуарами, шелест сухих листьев, опадающих с деревьев, которые выросли без меня, колокольный звон страшным воскресным утром, огромное молчаливое кладбище за окнами, а по ночам угадываемый в темноте беззвучный полет вокруг планеты гигантского влажного ватного шара. Когда меня не станет, он по-прежнему будет совершать свои медленные великаны круги, он вечен теперь. Я – нет. От меня останется только этот влажный комочек ваты, еще письма, письма, разрозненные черновики, ободранная и грязная сова с давнишней елки, пустая бутылка, где на дне засохло несколько капель густой коричневой влаги, фотография большеглазой кругломордой девочки с белым бантом в темных вьющихся волосах, да несколько кассет, шепчущих моим голосом, что у царя Мидаса – ослиные уши. «Ах, мой царь, – бормочут они безмолвно, – ах, мой любимый, какое счастье, что у тебя ослиные уши! Какие дивные ушки у тебя. Как я люблю твои ушки...»

– Ах, мой царь, – шепчу я без звука, – мой любимый... И сжимаю губами крошечный гладкий камешек соска. И слышу вдали неотвратимый грохот следующей волны. Она надвигается, а я в страхе ожидания лишь крепче вцепляюсь в ненаглядные шершавые плечи, зная, что сейчас вновь – ослепительная вспышка в центре тела, судорога последней гибели и – темнота.

Злые, веселые, умные глаза исследователя: лягушечка аккуратно распята на предметном стекле, рот растянулся в смущенной страдальческой улыбке, нелепо раскинутые лягушачьи лапки бестолково вздрагивают, круглые глазки послушно выпучились. А вот мы ее иголкой, а вот мы ей сейчас в животик... Ишь, задрожала, ах, ты милая! Ну-ка, а вот так? Смотри-ка, глазки закрывает...

– А ну, открой глаза, быстро!

И беззвучный взрыв, этот приторный ужас, после которого не надо жизни.

– Я люблю тебя, люблю... – слова, выталкиваемые отчаянием. Их нельзя произносить, не надо. Надо молчать. Молчать с открытыми глазами, как будто только что умерший покойник. Еще теплый.

...Жива еще лягушечка, жива, дрыгается...

Танька постоянно ябедничает бабушке. Целыми днями: «Буся, а она опять...» Невозможно спокойно ни на яблоню залезть, ни на чердак. Мерзким визгливым голосом. Когда ее причесывают, она тоже ужасно визжит, потому что у нее волосы все в мелких колечках. У меня тоже колечки, но темные и крупнее. Поэтому, у меня это – локоны. И я причесываюсь сама, а она визжит так, что один раз даже из аптеки прибежали – сказали, что

истязают ребенка. Ее никто не истязал. Она сама кого хочешь истязнет.

Она вылила марганцовку из банки, где у меня должен был вывестись человек, и перепрятала мой «секрет», который я ей сдуру показала, там, где за уборной растет вишня с темными ягодами.

Их есть нельзя, они ядовитые, но, может быть, это неправда, потому что я один раз слышала, как тетка с бабушкой говорили про эту вишню, и бабушка сказала, что мы с Танькой доверчивые. Когда говорят – доверчивые, значит, обманывают, и я тогда же пошла и съела одну вишню. Она была гораздо вкуснее, чем другие, которые не возле уборной, те больше, светлее и кислее, они одичали и годятся только для варенья. Но я все равно их ем каждый год. Ту, темную и сладкую, я специально съела только одну – если это яд, то должен заболеть живот. Но меня все равно спасут: чтобы отравиться насмерть, надо съесть много.

Но получилось неудачно, потому что в этот же день мы с соседской Веркой съели очень много маленьких кислых яблок, которые набрали у них в саду под яблонями, – это тоже не разрешают, – и я тогда не разобрала, отчего болел живот.

В следующий раз надо будет съесть две темных вишни, а яблок не есть, и, если не отравлюсь, можно утром, когда бабушка уходит на рынок, а Танька еще спит, оборвать всю вишню за уборной и сказать, что через забор перелезли чужие мальчишки, пригрозили мне ружьем, а ягоды оборвали и унесли с собой.

У Веркиного отца есть ружье. Он уже застрелил из него чужую кошку, которая напугала их кур. Меня тогда целый день рвало, потому что я видела, как она лежала в траве на боку и часто-часто вздрагивала хвостом. Уже застреленная.

У Верки в тамбуре пахнет чем-то кислым и противным. Так у многих пахнет. Может, это капустой. А у нас – пыльным и печальным. Несъедобным. Я думаю, это пахнет до-войной, когда

нас с Танькой еще не было, а дедушка был жив. Тогда еще яблоки не заросли крапивой, а вишни не одичали, потому что дедушка ухаживал за садом – на некоторых вишнях внизу стволов я нашла крошечные белые пятнышки от извести, которой он белил деревья. Но сейчас этим заниматься некому.

Лучше всего пахнет у нас в буфете. Наш буфет – как дворец. Он огромный и занимает пол-кухни. У него три этажа, по бокам – башенки с вырезанными виноградными кистями, в середине – дверцы с зелеными, наверное, изумрудными стеклами, и на них – белые матовые лилии. Изумруд – самый красивый на свете камень. Он так красив, что, увидев его, все ИЗУМятся и умРУТ: изум-руд.

На самом верху буфета, совсем под потолком – полузакрытая ниша, вся окруженная тоже вырезанными из дерева листьями и цветами. Я туда умещаюсь, а Танька – нет. Со злости она наврала Бусе, что я залезала туда и наступила на посуду. Я, во-первых, наступила не на посуду, а на ложки и вилки, а во-вторых, босой ногой.

В буфет вообще не разрешают лазить. Но это невозможно, потому что там миллион дверец и ящиков, и в одном я нашла восковое яблоко, а в другом – черно-золотую пряжку. Пряжку я спрятала в голову куклы Оксаны: у нее давно уже в голове дырка, а волосы снимаются, и я их прикрепляю обратно слюнями. Яблоко спрятать как следует было некуда, и я положила его в валенок, а они нашли, но не ругались, а очень обидно смеялись, потому что на нем в трех местах был след от моих зубов. Как будто я дура! Я прекрасно знала, что оно восковое, но оно было такое нежное и гладкое, что даже плакать хотелось, и я подумала, что, может быть, оно еще вкуснее, чем настоящее – какое-нибудь волшебное. И все три раза так думала, хотя каждый раз было отвратительно, когда куснешь.

Я никак не могу осмотреть весь буфет подряд, потому что, когда бабушка уходит на рынок, я сразу открываю какой-нибудь

один ящичек или дверцу и уже не могу оторваться, пока не заскрипит калитка. Но запах в них во всех одинаковый – они пахнут чудесными тайнами.

Еще прекрасный запах у отцовской шкатулки. Она черная, а внутри красная. На крышке у нее – черно-золотая тройка коней. Отец часто пел мне песню, наверное, про нее:

«Мы ушли от проклятой погони,
Перестань, моя крошка, рыдать!
Нас не выдадут черные кони –
Вороных никому не догнать...»

Когда отец еще жил с нами, он держал в шкатулке папиросы, а потом бросал курить и насыпал туда монпансье. Мне нельзя было их брать, и я все время ужасно боялась, что нечаянно возьму. Сейчас я иногда нюхаю шкатулку, когда никто не видит: она пахнет папиросами, и монпансье, и отцом, и страхом. Он очень страшно сердился, совсем не так, как мама, бабушка и тетка. Когда он сердился, у меня в животе сжималось, и я думала, что умираю, и тошнило.

Я никогда не знала, в какой момент он начнет бросать все на пол и кричать нечеловеческим голосом небывалые слова, которые я больше нигде не слышала. Некоторые я еще помню.

Однажды он бросил и разбил свой янтарный мундштук, который я очень любила, хотя он каждый раз, когда пососешь, оказывался не вкусно-кислым, а горьким, – обломки я тоже прячу в голове у Оксаны. И разбил мою чашку с Мойдодыром, а потом сказал, что она пошлая, что это местечко, и у ребенка никогда не будет вкуса.

Он всегда, когда сердился, кричал на всех – местечко. Это, наверное, наш дом и двор, и вообще Томилино – потому что все это маленькое, и ему неинтересно. Где он теперь живет, я не знаю, но там стоят большие дома «со всеми удобствами». А нас

с Танькой моют всегда в корыте. В тот раз он сердился как раз из-за корыта, но я точно не помню. Потому что, он говорил, его все время раздражали и злили нарочно, и стукнул кулаком по полену у печки, и разбил себе руку в кровь. Я испугалась, что он сейчас истечет кровью, стащила с вешалки его вишневым галстук с белой подкладкой, вывернула наизнанку и стала бегать за ним по всем комнатам, крича: «Папочка, дай я тебя перевяжу!» Но он гонялся за теткой с этим поленом, меня отталкивал ногой, а глаза у него были совершенно как у застреленной кошки.

Анна Осиповна, которая через дорогу, говорит, что он алкоголик. Но это вранье. Алкоголиков я сто раз видела у сельпо. А мой отец красивый, у него самые лучшие в мире галстуки, и ногти похожи на ракушки из перламутра. И пахнет от него всегда удивительно вкусно, хотя и не едой. Он называет меня «мильй», как будто я мальчик – я от этого очень волнуюсь.

И он все знает. Он сам так сказал. Я не очень поверила, что совсем все, и спросила, что делать, если хочешь чихнуть и не можешь? Он сказал – посмотреть на яркий свет. Оказалось – правда. Еще я спрашивала, что делать, если что-то забыл и не можешь вспомнить? Он сказал – не думать об этом.

Может быть, это тоже правда, но этого я все равно не смогу. Если мне что-то придет в голову или чего-нибудь захочется, то я думаю и думаю об этом до тех пор, пока мне не начнет казаться, что это – главное во всем мире, а ни о чем другом уже думать не хочу. И все, кто говорит со мной не об этом, мне кажутся врагами. Буся говорит – я вся в отца.

Так было с Яшей из Баку. А еще раньше – когда отец ушел от нас, и я хотела, чтобы он вернулся. Он приезжал ко мне по воскресеньям, но не каждую неделю. Я никогда не знала заранее, когда он приедет, и на всякий случай приходилось каждое воскресенье переводить будильник на два часа назад, чтобы он подумал, что еще рано, и побыл подольше. Один раз я забыла потом переставить стрелки обратно, и перед сном была великая

путаница, но я не создалась, даже когда будильник понесли в починку.

В то время каждый вечер, ложась спать, я смотрела на желтую полосу света над моей кроватью и начинала очень сильно, просто страстно хотеть, чтобы сейчас же раздался стук в дверь тамбура и вошел отец, в моем любимом сером галстуке с маленькими синими мячиками, неся в руках все свои вещи и коньки и лыжи для меня. Мне их уже два года обещают, но денег нет.

Я была уверена, что, если захотеть по-настоящему страстно, то так и будет. Но мое хотение не помогло, хотя я даже зубы сжимала. То же самое было потом с Яшей.

Я очень боюсь поверить, что от меня ничего не зависит, – тогда жить дальше будет невозможно, – и стараюсь себя уговорить, что я просто не сумела достаточно страстно захотеть.

Но тогда я не знала, что если хотеть все время одного и того же, то хотения постепенно стираются.

Теперь, ложась спать, я почти никогда не думаю об отце, даже о шраме в виде креста на его затылке не думаю, а раньше мне казалось, что этот шрам – самое красивое на свете, и что у всех настоящих мужчин должен быть такой шрам. Но у Яши из Баку шрама нет. Я и о Яше думаю теперь не каждый вечер.

Иногда я начинаю перед сном думать о том, что будет со мной дальше, и мне становится торжественно и чудно, потому что все невероятные приключения и чудеса, которые ждут меня впереди, толпятся вокруг и сверкают, и у меня захватывает дыхание, как под Новый Год, так что я даже не обращаю внимания на звон комара возле моей кровати. Но, может быть, это дальний гудок электрички.

Темная-темная комната начинает равномерно раскачиваться, что-то торопливо постукивает под полом, стены сближаются, опускается потолок, в окно каждые несколько мгновений впрыскиваются густые порции света. Между ними – темнота. На столике мелко дрожит бутылка с янтарной жидкостью, два стакана – один пустой. Последний островок имперского уюта в дребезжащем хаосе.

Я обхватываю руками колени и слушаю, как у меня в ушах, в такт постукиванию, звучит: «Он вчера нашептал мне много, нашептал мне страшное-страшное, он ушел печальной дорогой, а я забыла вчерашнее, забыла вчерашнее...»

Эти стихи – на завтра. Он еще здесь. Мы еще вместе. На полке напротив – запрокинутое бледное лицо, наконец-то сомкнутые глаза, болезненно и насмешливо стиснутые губы.

И трезвая горечь понимания начинает проникать в мою одурманенную голову. Это – все. Утром поезд уткнется носом в бетон, грязный снег под тусклым солнцем осядет еще на сантиметр, хлопнет разболтанная дверца такси, я поспешно сдерну перчатку, холодные губы небрежно и ласково ткнутся в мою ладонь, таксист закурит вонючую сигарету, и это будет конец.

Крушение, Господи, пошли крушение. Или выйти в ледяной тамбур, открыть тугую дверь... Но оторваться от этого подрагивающего на подушке пьяного родного лица, по которому проносятся полосы света, от свесившейся руки с детскими пальцами...

Я сворачиваюсь в клубок на узкой полке, засовываю голову под подушку, репетируя завтрашнее отчаяние – как это будет, и можно ли с этим жить. И слышу почти вдруг человеческий, почти добрый голос: «Ты не спишь? Иди сюда. Иди ко мне».

Я протягиваю руку, и мои пальцы нащупывают горячий нежный живот. Ниже, ниже, и, ухватившись за единственный мой в этом мире спасательный круг, уже захлебываясь во вновь накатывающей соленой кипящей волне, я, как магнитом, притя-

гиваюсь на соседнюю полку, к безжалостному, любимому, колдовскому телу, к сумасшедшему запаху полыни и пьяной вишни, к злым мягким рукам; и потряхивания вагона, как сметану в масле, сбивают нас в единый плотный комок.

Пусть волны сомкнутся над нами, пусть волны забвенья... Пусть все о нас забудут, и мы останемся здесь! Здесь, в подводном царстве, мы выстроим себе дом из переливающихся ракушек, крыша будет из жемчугов, морской конек – вместо флюгера, по утрам ручные золотые рыбки станут будить нас, щекоча хвостиками, мой любимый сонно засмеется, а я надену новую юбку из бахромы медуз и запою песню о том, как по огромной одичавшей стране ехал зелененький поезд, а внутри, в уютной полированной коробочке, двое расставались, расставались навсегда.

– Что это ты поешь, такое печальное? – спросит он своим ленивым, насмешливым, кошачьим голосом. – Какая нелепая история! Спой лучше вчерашнюю песню про белого кита!

И я спою ему про прекрасного Моби Дика, а потом отправлюсь к Большой скале, собирать устриц к завтраку.

– Только не поднимайся на поверхность, – крикнет он мне вслед, – не люблю, когда ты подплываешь к кораблям, не доверяю я людям из верхнего мира.

– Не буду, милый, не буду, – пообещаю я и, конечно, сдержу слово. Зачем мне волновать моего милого, пусть он будет весел и спокоен. Все равно однажды вечером он заскучает и захочет посмотреть на закат с Большой скалы. Он уплывет к багровым облакам на горизонте и больше не вернется – тяжелый корабль увезет его в огромную страшную страну, там он забудет обо мне. Но когда-нибудь, выйдя на морской берег, он увидит, как белые клочья пены оседают на прибрежных камнях, и вздрогнет, и сердце сожмется от тоски.

«О чем я забыл? – подумает он. – Ведь я о чем-то позабыл, о чем-то важном». Но вспомнить не сможет и, ссутулясь, пойдет

прочь от прибоя, давя рифлеными подошвами ботинок последние пузырьки пены, лопающиеся беззвучно, как я жила.

Я подставляю лесенку и тянусь к верхней полке. Это желтая трепаная книжечка без обложки, начинающаяся с сорок второй страницы, – я засунула ее вчера за большого голубого Блока.

Они никогда ничего не запрещают, что бы я ни читала, только иногда противно посмеиваются. И про Блока тетка тоже усмехнулась. Это значит – все равно не поймешь.

А я все понимаю. «Я видела в каждой былинке дорогое лицо его страшное. Он ушел по той же тропинке, куда уходило вчерашнее, уходило вчерашнее...» — это, когда я сижу на дровах, и солнце садится за аптеку, а трава становится фиолетовой, и я вдруг вижу, как из нашей калитки выходит Яша из Баку с клетчатым чемоданом и овчарка Джим в толстом скрипучем ошейнике. Они идут, не замечая меня, к воротам, выходят из аптечного двора. Я вижу грустный опущенный хвост Джима и Яшин узкий затылок. Не оглядываясь, уходят они по влажной песчаной дорожке, скользя длинными тенями по извилистым корням сосен, по направлению к станции, а оттуда уже гудит поезд.

Когда я ложусь спать, и в темноте по потолку протягивается желтая косая полоса света, я тоже слышу эти гудки. Они далеки и так печальны. Иногда, засыпая, я путаю их с комариным звуком.

Когда-нибудь, в жаркое летнее утро, я выгляну за аптечные ворота и увижу спешащего со станции Яшу. Джим будет бежать впереди, Яша ворвется в аптечный двор, прижмет меня к сердцу, и наши слезы смешаются. Когда я думаю об этих смешивающихся слезах, что-то сжимается у меня внизу живота. Это похоже на

первую несильную боль, когда начинается аппендицит, но мне его прошлой зимой удалили. И немного похоже на слово «погибнуть». Это будет, как атомный взрыв, который я видела по Веркиному телевизору: медленная яркая вспышка, и огромное бесшумное облако тьмы.

Наверное, про эту книжку они тоже ничего не скажут. Но, по-моему, это все равно – тайна. Почему она без обложки и начала и такая грязная?

В ней я тоже почти все понимаю. Это про любовь. Тонуть и выплывать, погибать и воскресать – про любовь.

Там двое любят друг друга, но не говорят, то есть говорят какие-то насмешливые слова, потому что боятся назвать, любят недолго, а потом разлучаются. И где-то далеко, в другой стране, старый дом, а в одной из комнат, напротив высокой двустворчатой двери, стоит огромный шкаф, похожий, должно быть, на наш буфет, и в одном из ящиков – коробка, полная старых писем и магнитофонных кассет...

Что это – «кассеты»? Такого нет. Бывает магнитофонная пленка, а кассеты?.. Может быть, они есть, но я еще не знаю? Или потом будут?

И эта женщина, которая все время писала письма и не отправляла, и говорила, говорила, звала в пустоте, сжимая ледяные кисти рук подмышками, и никто не отвечал, а она билась лбом об колени и не плакала, только боялась по ночам влажного ватного комочка, который стал огромным и летает вокруг Земли, как спутник...

Я видела спутник. Два раза видела. Но, может быть, это была падающая звезда, и надо было загадать желание, а я не загадала, и теперь я никогда не увижу Яшу из Баку и овчарку Джима, от которого пахнет мокрым шоколадом, а вовсе не псиной, как Буся говорит.

Эта женщина, печальная, отчаянная и бессовестная, она – как я. Она кочует из города в город и возит в чемодане коробку

со старыми письмами, фотографию девочки с крутым лбом, большими хитрыми глазами и белым бантом в темных вьющихся волосах, белую грязную елочную сову, сломанную зажигалку и липкую граненую бутылку с квадратной пробкой. Еще кассеты, про которые я не знаю – что это.

Однажды она оставит свою коробку в чужом старинном шкафу, поднимет воротник черного плаща, пригладит коротко остриженные темные волосы и уйдет пешком в город Франкфурт. Совсем уйдет туда, в далекий Франкфурт. Потому что в конце так написано: «Через полгода они встретились во Франкфурте, и ничего не удалось избежать».

Я все, все понимаю. Дальше кто-то найдет коробку в шкафу, совсем чужой человек, будет всю ночь читать письма, слушать ее хриплый внятный голос, нюхать сладко-горькую бутылку, смотреть на мою фотографию с бантом, а потом напишет об этом книгу, в которой последние слова будут: «Через полгода они встретились во Франкфурте...»

Я сижу на верхней ступеньке лестницы, в окно дует, и у меня затекла левая нога, я боюсь, что войдет бабушка и позовет ужинать, что Танька сейчас заглянет в окно и завизжит: «Буся, она опять на лестничке сидит!», в комнате почти стемнело, но я все читаю и читаю эту странную последнюю фразу и слышу, как кто-то вдалеке тихо проговаривает медленным, ленивым, чуть мяукающим голосом: «Через полгода они встретились во Франкфурте, и ничего не удалось избежать... ничего не удалось избежать».

Мюнхен. Сентябрь 1992 – март 1993

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПТИЦА ФАЙБУСОВИЧ

Всяк волен статусом гордиться –
прозаик он или поэт.
Но только Файбусович-птица
над всей словесностью парит.

Он озирает острым оком
низины потаённых фраз.
Он слышит в шорохе далёком
глагол, неведомый для нас.

О, Моисеевич пернатый!
Ты этим даром не шути.
Да сгинет морок мой проклятый!
Лети, малиновка, лети!

Ты – путеводное светило.
Асклепий, Целум, Менелай...
Покуда Солнце не остыло,
не унывай. Fly, Robin, Fly!

ЭБРАЭЛИ¹

Зацепиться лишь за слово –
за любое, генацвале.
И вино струится снова
в полусумрачном подвале.

И гортанное вибрато
затухает в коде сказа,
к нам снисшедшего когда-то
с эбразьского Кавказа.

Наши речи родниковы.
Наша кровь – Напареули.
Скинув трезвости оковы,
переходим на киврули²...

Что еврейскому грузину,
что грузинскому еврею
я пустое слово в спину
в жизни бросить не посмею.

Я скажу: «Наполним роги!
Я сегодня тамадую.
Пьём за мирные дороги!
За Колхиду дорогую!..»

¹ Грузинские евреи.

² Еврейско-грузинский язык.

* * *

Вив ля Франс, господа и дамы.
Вив ля Франс!
Пусть мы – лохи, и никогда мы
в преферанс

не выигрывали по туру
в Мулен Руж,
чтоб дивиться на ню натуру,
и, к тому ж,

отродясь мы не посещали
Монпарнас.
Монпарнас, и сейчас, – едва ли
он про нас.

Не бегу я в ажиотаже,
посмотри,
ни в Орсе, ни в Гарнье, ни даже
в Тюильри.

А пойду-ка я...
– Да иди ты
в хвойный лес.
А не то загремишь под плиты
Пер-Лашез...

Наш-то лес не падёт, как дева,
только тронь...
Хочешь – справа, а хочешь – слева.
Не Булонь...

Наш, родной – чёрной меткой метит
нам мозги.
Чуть войдёшь, а глядишь – не светит –
ну ни зги.

* * *

Вот вечер. Сядем у камина.
Как, нет камина? Ну, к костру.
Паркет, особенно осина,
горит красиво. Я натру

нам в кофе плитку шоколада
из холодильника. Сто грамм.
Что значит – нету?! Ну, не надо.
Я принесу из сада нам

по килограмму бурой глины.
Что в мире родины вкусней?
Нет родины? Ну, пуд чужбины.
Хотя... Намучаемся с ней.

Она ж насквозь не правоверна.
Ей ужин наш не по нутру.
Ох, милая... На сердце скверно...
Чем нам согреться ввечеру?!

* * *

Мы тормозим на этом слове,
и тишина повисла в доме.
На этом слове как основе
стоит вся наша повесть, кроме

нежданной близости к финалу,
диаметральному началу.
Ведь нам начало обещало
вовек отсутствие финала.

А слово-то всего двусложно,
и лаконизм так безупречен.
Его из уст мы осторожно
берём и, как младенца, лечим.

*– Не плачь, малыш! Тебя не выдам!
Тебя не тронут злые дяди!
Но ты – ни запахом, ни видом
не выделяйся, бога ради!*

*Средь слов других, тебе подобных,
пригнись или подпрыгни, детка.
Спасенье в позах неудобных
нас может выручить нередко.*

*Закрой глаза. Окрасься в хаки.
Пусть в приглушённом камуфляже
тебя ни люди, ни собаки
не опознают словом даже.*

Попытка наша безуспешна.
Увы, действительность сурова.
Орёт пронзительно, конечно,
и губит нас большое слово.

А нас самих, как зайца русость,
и маскировка не спасает.
Чумное это слово «трусость»
само в застенках нас пытается.

* * *

Отождествление себя
ну, скажем, с птицем поднебесным,
таким свободным и прелестным,
прекрасно, но, в трубу трубя,
меня догонит лётчик смелый –
штурвала и педали бог,
и я паду, оторопелый.

Просёлком, не жалея ног,
метнусь к ближайшему пруду,
а повезёт, так к океану,
себя отождествлять там стану
с подводным рыбом, но, в дуду
дудя, настигнет разъярённый
подводник – бог глубин руля.
И вот всплыву я, потрясённый,

и кинусь в тучные поля
отождествлять себя с коровом,

и в этом ипостасе новом
меня догонит комбайнёр,
оря в оратель.

С этих пор
неужто мне себя с собой
отождествлять?! Какая скука...

Но тут и мóлодцам наука,
и даже дéвице любой,
да и любой животной твари
и каждой оной твари паре
(да что там... если по уму,
уввы и ах, мне самому):

Всегда оставишь ты следы,
в себе ли, вне себя ли ты.

Пример нам с вами – только я.
Ведь так легка душа моя
без груза совести и меры,
ярма приличий и карьеры...

Когда, смущаясь и робея,
имею наглость быть в себе я,
в любых пространствах душ и сред
я не оставляю ясный след...

Забыв вариативность тем,
отождествляя себя лишь с тем,
кто не следит в любой среде –
со мною!
Присно и везде.

* * *

Снова гости на подходе,
у гостей достойный вид.
И, как свойственно породе,
не плебейский аппетит.

Благородны их седины.
Их виски белее соли.
Ими слойки не едимы,
но едимы профитроли.

От же ж, право, изуверы...
Ой, пойду ль я в гастроном
покупать гостям эклеры
и карибский тёмный ром.

Вот сидим мы до рассвету,
ощущая трезвость духа.
Вот, глядишь, и рома нету...
Молли! Где у нас сивуха?

Разошедшись не на шутку,
(всё резонно – пир, так пир)
проглотила дама утку,
кавалер доел гарнир.

Вот – в любви да совете
мы ползём на кухню нашу.
Гости, гости, наши сети
притащили щи да кашу.

Вот и съели мы исправно,
что сподобились найти.
Пусто в доме. Ну и славно...
Что ж... Счастливого пути!

СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА

То пыль, то хмарь. Продлись, мгновенье.
Пусть прояснится кругозор,
и серых эстакад сплетенье,
неявное до этих пор,

заполнит с краю и до краю
урбанистическую даль.
Хотел я этого? Не знаю...
Но думается мне – едва ль.

Тут не монтируется тонкий
твой стан. И в сердце не звучит
смех, как хрусталь бокалов, звонкий,
и твой не весь задумчив вид...

На эти ли пласты гудрона
люблю усталый я прилечь,
чтоб слушать вновь, замороженно,
весёлую доселе речь?

О, нет! Перемотаем кадры...
Степной пейзаж. Осядет пыль.
Что мы увидели? Эскадры
слепней, мятущийся ковыль...

Где тут монтируется тайна?
Как здесь мне грустно так уснуть?
Нет, дорогая. Не случайно
я в неземной пускаюсь путь.

От звезд, в их холодности брэнной,
от неприветливых планет
одна тоска... И во Вселенной
романтику приюта нет...

* * *

Только вот не надо плохо
мне про За́хера-Мазоха
чушь нести – мол, чтоб он сдох,
этот твой Захёр-Мазох!
Ах, идите лунным садом
и целуйтесь там с де Садам.
А по мне, так ваш де Сад
заслужил кромешный ад.
Сад бы – сад... Да вот досада –
нет для вас с де Садам сада.
Захер знаться с Садам де,
если сада нет нигде?
Да и сад второй засох,
где гулял со мной Мазох.
Что ж за горе, люди, блядь...
С Фрейдом что ли нам гулять?!

* * *

Ты должен твёрдо знать, что *не*,
и *да* обрящешь с неких пор ты.
Вопрос – встречать его извне,
или из собственной аорты.

Налью в реторты пустоты,
Да пей же, милая, не ёжься,
я буду ждать тебя, а ты,
не уходя, ко мне вернёшься.

Продам за ломаный коня.
Сварганю стих, пока не спился.
С какой берёзы на меня
Пегас Асадова свалился?

Затихнем, озарений ждя.
Нанижем их рядами бусин.
И тост, подъятый за вождя,
грудинкой родины закусим.

Нет, мне не выкупить коня.
Ну – патриот. А что такова...
С какого дуба на меня?..
Привет, Психея Михалкова.

А лиры тренькают кругом.
То вместе, то попеременно.
Поют о кровном, о родном...
Да успокойся, Мельпомена!

Как пел я сам под звон кифар!
Теперь – под стоны скрипок хилых
гортань способна только каррр,
а фить-фить-фить уже не в силах.

Теперь я ворон – не певец.
Что ж так мне, музы, херовато...
И света видится конец,
и Солоухина Эрато...

Кончаю повесть. точка.ру.
Валяюсь, благостен, как нерпа.
И в винокуровском пару
стирает майки мне Эвтерпа.

* * *

Художница души моей,
Мари Виже-Лебрён.
Как ты выводил из теней
парижских кружев лён!

На щёки бледные девиц
кладя румянца слой,
ты отражаешь сотни лиц,
не помня образ свой.

Путь острой кисти до холста
трагически далёк.
Пока помадятся уста,
твой тонкий рот поблёк.

Чудесны локоны у дам,
растрёпаны твои.
А из портретных далей к нам
доносится: «Paris!

Je t'aime tellement!»
Ты мирно спишь
в платановом краю.
Но я не так люблю Париж,
как живопись твою.

* * *

Шла персона по газону
среди лесов, полей и рек.
Повстречали ту персону
шесть с полтиной человек.

Были шестеро с граблями,
а один по пояс им.
Не граблям – поймите сами,
а с граблями шестерым.

Вопреки родимым ГОСТам
наш седьмой (что делать с ним?)
был с троих с граблями ростом.
Вот ведь странный гражданин.

Но, поскольку у седьмого
вовсе не было граблей,

расскажу стишок я снова.
Эй, гарсон, ещё налей!

Ну так вот – одна персона
шла с большого бодуна
среди пожухлого газона.
При граблях была она.

Неожиданно навстречу
вышли шестеро бедняг
без граблей, с гундосой речью
и неся трёхцветный стяг.

У седьмого ж – без дефекта
речь была – сплошная дичь,
но желанного эффекта
не могла она достичь,

так как наш ходок с граблями
был настолько погружён
сам в себя, что мог часами
ничего не слышать он.

Тут уж, братцы, не до роста!
Грех его нам наблюдать.
Нам уже ведь до погоста
без граблей рукой подать.

А с граблями... Всё. Молчу я...
Эй, гарсон, налей полней!
Неспроста молчу, но чуя
приближение граблей...

В чём мораль? Так если падкий
до величия народ
при граблях, аж до Камчатки
он граблями достаёт!

КАВАЛЕРИЙСКО-КОЛЫБЕЛЬНЫЙ МАРШ

Мы спали за совесть. Отнюдь не за страх!
И чудо-ватрушку держали в зубах.
Но булку иную – не с творогом, нет! –
жевал, засыпая, убогий сосед...

Скажи нам, Бурунди! И, Конго, ответь –
откуда у хлопца нелепая снедь?

Соседа мы слышим сквозь дрему, порой.
Кричит он от страха. Ведь он – не герой...
Орёт как скаженный, сползая с дива...
Мужайся, соседка! Теперь ты – вдова...

Ох, сколько твердили мы дурню о том,
что только ватрушка спасает наш сон!

Ведь коли уснул ты с ватрушкой во рту,
живым и счастливым проснёшься к утру!!!

* * *

Глухо падает семя. Пустой человек,
наблюдая привычно свои огороды,

не заметит смещения света на век
и сгущения звука во впадинах дек,
и струения страха в извилинах рек,
повторяющих вяло извивы природы.

Эта музыка в теле – в прибылике и в воле –
в силе счёт по складам довести до дести.
Но глагол, будто облак, бесчувственный к боли,
неспособен рассеянный облик нести.

Тихо падает время. Глухой человек,
в столбняке наблюдая клубничные битвы,
из струящихся дек, из вертящихся рек
извлекает тяжёлые звенья молитвы.

* * *

*Припомни близкий Стикс
и страсти позабудь.*

Козьма Прутков

Нескончаем клубок ностальгии –
лишь полнеет, виток за витком
обегаю поляны другие,
на чужие карнизы влеком.

.....

А когда я скольжу по карнизу
и когда над поляной жужжу,

непрерывно шенгенскую визу
я в нагрудном кармане держу.

Не грусти, пограничник, не надо –
ведь порой не проходит и дня,
чтоб в аллеях запретного сада
не достал ты другого меня.

Дубу – дубово. Грабово – грабу.
А таможене – в стотысячный раз –
зависть злую – когда – словно жабу –
эсэнгешный пурпуровый пас...

Порт отбытия держит за глотку.
Пункт прописки даёт прикурить.
Я встречаю Харонову лодку.
Я сучу Андромедину нить.

Тереблю травяные волокна,
в правоверный зовущие рай.
(Вон топырит монгольские окна
мой раскосо-татарский сарай.)

Балалаечно-лапотный дребезг.
Первачом окроплённая грудь.
Подминающий клевер да вереск,
правомерно-путятинский путь.

Вот фортуна – совок да метёлка,
перекрестье прицела во лбу.
Как ни кормят московского волка
эмигрантские ноги, скребу

по сусекам тоски одичалой –
допрядаю бредовую нить.
Погоди, гондольер, у причала.
Стикс не Волга – успеем доплыть.

ЗНОЙ

Смотри: окно уже не может
глядеть на Солнце, не моргая.
Не оттого ль лучи по коже
скользят, как лезвия? Другая

постройка не решилась выйти
лицом к светилу так бесстрашно.
Пока оно стоит в зените,
моя сторожевая башня,

ослепши начерно на обе
бойницы, силится на курьих
брести наощупь по Найроби,
по Лиме, в дебрях Сингапурьих,

но не по родине. Ах, роди-
на, кой ты ляд свои просторы
стелила ниц и на восходе
нескромные кидала взоры...

Бросала взгляды – полны неги,
то от порога, то от печки.
От Ашхабада до Онеги,
от Припяти до Чёрной речки

зовясь просторами родными,
где всё вокруг – кондей кондова,
но, отлучив меня от выме-
ни, от корыта, церкви, слова...

от бурой слизи глинозёма,
от белой длани протопопы
(ах, эта рифма нам знакома,
но не поймёт её Европа)...

Гляди: оно опять в зените –
o sole mio – mio sole.
Ни дюйма тени на граните.
Ни грана жалости. Доколе

моя тура пороховая,
шатаясь в пекле неизбывном,
петь будет, – о, моя Бискайя!
Гванабакоа! – над обрывом,

куда сорваться – проще паре-
ного в семи парах гороха.
Мне балалайка Страдивари
мерещится в садах Востока,

в торосах Севера – и дале –
в зело неведомых пучинах.
(...Мы много чудного видали,
не задаваясь о причинах...)

Ой, не найти в доме портъеры,
способной солнечную ярость,

не разумеющую меры,
в проёме каменном – хоть малость –

угомонить. Смотри: по полу
бежит палёная полоска,
паркет, подобно ледоколу,
кроша. И только пена воска

кипящей в панике мастики,
в эфир скользящей невесомо,
рождает жалобные блики
среди всеобщего содома.

* * *

Улисс по кличке Одиссей
в густых урюпинских трущобах
не ждёт гомеровских страстей.
Он ждёт пелевинских. Особых

не видя разниц между гре-
ческой и новоросской лирой.
Коль упражнения в игре
ленивы, как ни галопируй

по трём кишкам бескровных струн,
мотив косноязычен. Слово
не ясно вовсе. Злой типун
обрёл клиента. Вересково

махра курится. Но в дыму
не спрятать греческого носа

Герасиму, топя Му-му,
и Разину, швыряя косо

в волну избыток нежных дев,
от томных шёпотов истаяв,
к родному классу охладев...
В пространной пустоте – Чапаев,

шурша надкрыльями, бредёт
по хляби – по уши в навозе –
и Анну бережно кладёт
в пучину вод. В высокой прозе

воспета женственность. Века,
скользя от Пенелопы к Анке,
не просят отдыха пока,
не тормозят на полустанке

провинций наших. А Гомер,
в гробу вращаясь ежечасно,
нам ставит образ и пример.
Напрасно, людие, напрасно...

* * *

Вот животная безрога.
Вот вскочу я на неё...
До свидания, дорога.
Здравствуй, чёрное жнивье.

Как там было у Рубцова?
Буду долго гнать в поля

тощий транспорт, чтобы снова
том стихов начать с нуля.

Соберу ли я букетов,
истоптав ли целину,
наскребу мешок сонетов
да поэму не одну

в назидание народу,
в закрома Святой Руси...
Только спину год от году
ломит. Нет уж! На такси

в Дом писателей, на ужин.
Там до столика пешком.
Посмотрю, кому я нужен
с городским моим стишком.

* * *

Как выйдешь, Дуся, за калитку,
блюди свою девичью честь.
Любую пресекай попытку
поймать тебя и сразу съесть.

Съеденье требует культуры,
на то и создан этикет.
А в пасть к невеждам лезут дуры,
у коих представленья нет

о древних тонкостях бомонда,
о кринолине с декольтом,
Как можно в джинсах есть модно,
да и без уксуса притом?!

А сам едок достоин разве
тобой питаться день за днём,
коль подъезжает он на ВАЗе,
и не краснеет за рулём?

Нет! Шиш им – вечно и отныне!
Полна лихого куража,
идёшь ты в красном кринолине,
ведро кокетливо держа

в одной руке, другою нежно
прижав корыто к декольту,
изящно и почти небрежно
давая отруби скоту.

Да... Не судьба тебе на блюде
преподнесённой быть царю...
Пусть не поймут простые люди,
но я-то точно говорю.

* * *

Тропой излюбленной моей
всегда был бурелом.
По рёбрам стонущих ветвей
в мистический дурдом.

Всё ближе каждый день и час,
нездешний чуя страх,
к палате, светлой напоказ,
с решётками в глазах.

Светильник в ней влечёт меня,
как мотылька свеча.
Как фитиля её родня,
в ней койка горяча.

В конце концов сгорю ли я,
осилив этот путь?
Бог знает... Но мечта моя
придёт когда-нибудь

к осуществлению, почти
не чувствуя ярмо.
Но опасаясь, что дойти
ей санитар помо...

* * *

Хотя времён необратимость
ответственность диктует людям,
владеет ими одержимость
кричать «виват!» Ну что ж... Не будем

строги к приматам. Ведь приматы
экстраполировать не дюжат.
Не то чтоб все придурковаты,
но так их стадное утюжит,

пожалуй, первое по счёту,
всепоглощающее чувство,
что вызывающее рвоту
они трактуют как искусство.

Любой кретин – кумир и гуру,
лишь только рыло на портрете...
И я ловлю себя, что сдуру
готов пойматься в эти сети.

Принадлежа к людской породе,
вовек не выпрыгнуть из кожи.
Вот так и бродим по природе
и не пугаемся, похоже,

осоловелости во взгляде,
косноязычия в девизе.
Не откажите, бога ради,
мне в юпетиреанской визе...

Где ближе я найду спасенье?
Капец... Не стану и пытаться.
А там – и сени мои, сени,
и Моисеи. Может статься...

Ну что еще еврею нужно,
опричь сеней и Моисеев?
Где балалайка? Грянем дружно!
И в путь, сомнения посеяв.

* * *

Я застрял на слове «вечность».
Я с утра на нём буксую.
Цель ли выбрал я пустую?
Путь ли мой утратил млечность?

Галактической спирали
размотались ли пружины?
У вселенской ли машины
ржа заклинила педали?

Ох, о чём я? Что мне в глупой
этой вечности? Покуда
выплывают из-под спуда
помело с чугунной ступой,

да изба не помнит лица,
не спешит расслышать слово,
да Яга с Кощеем снова
начинают нереститься...

Мгла. Обочина. Маршрутка
всё не едет, чтоб ей дышло...

С бодуна кошмарно вышло.
А стрезва и вовсе – жутко.

* * *

Я жил уже. Скользя из века в век,
я постигал основы изумленья.
Простой язык о мирозданье рек
уверенно и стройно. И течение

спокойных звуков строило слова,
взрывающие утлое сознание.
Реальность не вмещала голова.
И надо мной рыдало мирозданье.

Постройка мира стоила творцу
потери сложности. Для чад непостижима
вселенная, что ведома отцу.
Мы видим лишь скупые жесты мима,

диктующего повести времён.
Планеты движут тонкие постромки,
готовые с натуги лопнуть. Лён
выносив, но Адамовы потомки

так расшатали эллипсы орбит,
что на протоны мир готов разбиться.
А человеку злой инстинкт велит
разрушить всё. Вглядись же в наши лица,

печальный Бог, теряющий резон
нам потакать в убожестве кондовом.
Вся наша речь — пустопорожний звон.
И кругозор мелеет с каждым новым

в наш толоконный лоб щелчком судьбы.
Прыжок до потолка. Преддверье комы...
Остановиться б нам, казалось бы...
Да мы к свершеньям пагубным влекомы.

.....

Саму небесконечную среду
мы превращаем в пепел. В прах остывший.
Казалось мне, что я во сне дойду
до простоты. Я снова слышал высший

господень глас. Я сон лелеял свой
как ясное спасение от пепла.
Но накануне первой мировой
прервался сон. И истина ослепла.

02.10.21

Майя Беленькая

ВО ЛЬДАХ

*Памяти подруги моей
школьной Ниночки Голубевой.
И, конечно, всем моим дорогим
одноклассникам – посвящается.*

А вот интересно, есть ли на свете такая техника, которая откалывает лед в одном конкретном, узко-локализованном месте? Не ледокол «Ленин» или еще круче «Арктика», куда Ленка так и не собралась за всю свою жизнь. А могла... Были, были друзья в Мурманске, которые обещали ее сводить, показать, покатать. Разбивала бы с ними ледовые громадины. Может, вместе и сообразили бы, как придумать крохотные ледоколычки. Чтобы не застрять в российских льдах средней полосы.

Ох, эта вечная деталь в нашем зимнем пейзаже – женщины в оранжевых жилетах скалывают лед во дворах, на дорогах, на трамвайных рельсах. Конечно, и в таком сюжете есть своя прелесть – апельсиновые всполохи на фоне сумрачного, неприступного бывшесоветского низкого неба.

Впрочем, Ленка всегда мучилась из-за того, что эти оранжевые пятна, мимо которых так безучастно пронесется сосредоточенный на себе и своих холодных ощущениях народ, эти рыжие глазницы серого замерзшего пространства – на самом-то деле –

люди. Думающие, переживающие, страдающие. И, может быть, они гораздо лучше размышляющей об этом Ленки, бегущих мимо прохожих, главного дирижера симфонического оркестра, замглавы администрации Ленинского района и, страшно сказать, невероятно популярной нынче в интеллигентских кругах сочинительницы многочисленных бестселлеров, которая почему-то считает, что замученные глаза, тупой физический труд и прочие составляющие – обязательно свидетельствуют о внутренней пустоте и примитивности этих оранжевых жилетов. Какие-то тетки тут нам жизнь очищают. И, конечно же, тетки эти – черт знает на какой ступени социально-духовной лестницы...

Ленка поскользнулась и чуть не грохнулась на ждущем своей участи льду.

Толстая широкоплечая женщина бросила свой тяжеленный лом и подхватила ее за локоть:

«Осторожнее, мы тут еще не скальвали.»

Где-то она уже видела это круглое доброе лицо, брови дугой, ямки на матрешкиных щеках. И главное голос...

«Белова, ты что ли, ой не могу, неужели ты? И опять, блин, на рельсы шмякаешься!»

Нинка Костикова, Коська – толстячок любимый, добрейшая Нинка – еще в первом классе за широту и доброту, величавость и спокойствие, назначенная Фаиной Александровной на празднике «Прощания с Букварем» играть «Родную речь». Не Ленке же Беловой с ее-то худобой, кудрявостью и вечной «торопыжностью» становиться «Родной речью». Да и картавость шансов не добавляла. Один раз только и произнесла бедная Ленка «Одна ечь», но этого оказалось достаточно. Всеобщий хохот вопрос и закрыл. А как хотелось! Все слова выучила. За всех героев. Особенно за Букваря ей нравилось. «Я – букварь (Белова производила «буквай»), учу писать, меня никак нельзя не знать...»

Постаревшая, но ни капли не изменившаяся родная «Родная речь» в оранжевой жилетке стояла перед ней.

– Когда это я на рельсы шмякалась? – забыв о том, что они не виделись минимум лет двадцать и надо бы спросить о детях, мужьях и здоровье (про работу ясно – нечего спрашивать), радостно уточнила Ленка.

– Да в театр мы бежали, в твой день рождения, и ты, как всегда, сзади верещала: опоздаем, опоздаем (еще бы: с тобой мы всегда опаздывали), – неторопливо, как в детстве, забасила Нинка. – Неужели не помнишь?

«Родная речь» вздохнула и подняла лом: «Такой был день рождения... Тетя Дина бефстрогановф сделала. Только у вас я тогда и ела бефстрогановф-то».

Нинка стянула огромную рукавицу, поправила все равно замерзшей ладошкой вылезшую из под шапки прядь, запихала руку назад, в сомнительное тепло казенной варежки, и стукнула ломом по серому льду.

– Помнишь, как мы смеялись тогда? В театре....

Ленка помнила. Точно такую же вязкую зиму. Смесь льда и слякоти. Низкое небо. Наползающие сумерки, и поразительное ощущение счастья. Сегодня ей исполняется 15 лет. И самые любимые подружки – с ней. И мама – веселая, худенькая, кудрявая, как сама Ленка.

Всем девчонкам куплены билеты в ТЮЗ. А до этого – такой вкусный обед-ужин у Лены дома. Бефстроганов, жареная картошка, пироги с корицей...

Мама торопит и шутит, что все равно, раз ее дочка в компании, – опоздают без вопросов.

Опаздывали, конечно. Поэтому через трамвайные рельсы и бежали.

Именинница – последняя, прихрамывая: резинка на чулке отстегнулась и приходится поддерживать этот чулок рукой.

Тупой трамвайный нос появляется совершенно неожиданно, Ленка спотыкается, и (чертова резинка, чертов чулок, ужасно неудобно) грохается на рельсы. Трамвай с визгом тормозит, Лен-

ка вскакивает и, плюнув на чулок, с полуголой ногой бежит к девчонкам, которые уже успели испугаться и от ужаса не могут вымолвить ни слова.

В театр успевают к последнему звонку, резинка пристегнута, мушкетеры режутся на сцене, но Лене не до них: переживает и переживает свой страх, и что могло случиться, и как бы маме сказали, и вообще...

Похоже, что плюнула на мушкетеров и Юлька Хохлова. В классе ее зовут Хохликом. (Непослушные Юлькины волосы, подкрепляя фамильные ассоциации, вечно торчат хохлом). Не обидно ни капельки: прозвища почти у всех. У любимицы класса, длиннокосой Тamarки Шапошниковой, – ласковое Тамаша. Нинка – вон Коська. От фамилии прозвали. А Ленка – Белка. Иногда даже Белочка.

Хохлова тоже не смотрит на сцену, а наклонившись, что-то высматривает на полу, и спина ее, а уж тем более хохол, подозрительно трясутся.

«Юлька, ты чего? – спрашивает Лена. – Хохлик, у тебя нервное что ли?»

Юля поднимает на именинницу глаза и трясется от хохота так, что соседи недовольно оборачиваются.

«Хохлова, ты чокнулась что ли? – шипит сидящая рядом Родная речь. – Сейчас госпожу Бонасье укокошат».

Хохлик заливается еще громче, так что и Лена, и Нина, и Тамаша – все девчонки вокруг – начинают трястись вместе с ней.

«Ну чего ты, чего?» – давятся они. – Че мы ржем-то?

«Я представила, я – ха-ха-ха – представила... Что Белка – ой, не могу – ха-ха-ха, полетела на рельсы, – тут Хохлова опять заходится от хохота, – с банкой сметаны. И эта сметана...»

Как они тогда залились... Все вместе.

Как им было страшно, весело, хорошо, уютно.

– Нин? А что мы тогда заливались с этой сметаной?

– Да все Хохлик! Как начнет представлять... Кстати, а где вообще она? Давно ее что-то не видела. У них с Витькой Чугуновым уже, наверное, детки большие? – Нинка вздохнула и оперлась всей грудью на лом. – Какой красавец был. Натуральный «я шагаю по Москве»

Лена засмеялась. Да, Чугунов, действительно, был очень похож на юного, а еще им, дуракам, казалось, романтического и светлого, Никиту Михалкова. Они тогда даже подозревали папу Никиты и по совместительству папу Дяди Степы в очередном романе. В их достаточно большом, но все-таки нестоличном городе. «Третье место в России по площади и населению», – с гордостью сообщали они всяким иногородним провинциалам.

Витька был их районным Михалковым. Шагал, пусть и не по Москве, но так же весело и уверенно; и девчонки вокруг обмирали от его темно-карих глаз с такими ресницами, что даже Никита бы позавидовал. На свадьбе Чугунова с Хохловой Лена была свидетельницей, с лентой через плечо. Дурацкая лента все время спадала, но Ленка все равно была хорошенькая и счастливая. Почти такая же как лучшая подружка, невеста Юлька.

И Вовка Тимин, их одноклассник и Витькин свидетель, тоже проклинал свою ленту, но до конца свадьбы терпеливо сносил ее неудобство. Лучшие друзья женятся.

Лена вздохнула.

– Нет, Ниночка, нет у Юли с Виктором детей. И вообще ничего нет. Развелись они... Пил Витька. Вместе с Тиминым, свидетелем жизни своей и пил.

Родная речь поправила старую вязаную шапку. И Ленке вдруг захотелось уткнуться в эту уютную домашнюю крупной вязки шапку, в доброе щекастое Нинкино лицо. Не видеть сизого неба, не ощущать промозглого ветра...

– И мой, паразит, пьет. Но Витька-то, Витька! Ведь и умный был, и способный. И высокий. А ресницы-то... Помнишь, ресницы-то какие были длиннющие? Кино!

Наверное, и сейчас на Никиту похож.

– Да нет... Вот если бы Михалков был алкашом – они бы были на одно лицо. Классический пример – что с человеком может сделать одна жизнь и другая жизнь.

– А ты его давно видела, Белка?

Лена как-то встретила их с Тиминим. Продавали какие-то шланги, явно ворованные с завода. И сами были как шланги. Вовка без зубов. В 40-то лет.

– Давно, Ниночка, давно. Не знаю, что с ним. Живы ли они с Вовкой? Мальчишки наши...

Безжалостный ветер дул в лицо, и Лена чувствовала, что замерзает, но как-то не могла на этом сосредоточиться, подумать, что опять сразу простудится; что зуб, который надо уже давно вырвать, начнет ныть, и муж ей будет говорить, что соображать надо головой; что вот, надо бы бежать дальше: дома уже дочка пришла со второй смены, завалилась, не переодевшись, не поев, не умывшись, читает. Все это было в голове, но как-то далеко, фоном. Настолько неважным...

– Бедная Юлька, – вздохнула Родная речь, поудобнее расставив толстенькие ножки в валенках с галошами. – Бедная...

– Да нет, не очень бедная. Она теперь в Лос-Анджелесе живет. Практически в Беверли-Хиллз. Голливуд из окошка видно.

Нинка захохотала: Хохлик в Америке? Надо же! А центы-то были у меня! Мы ведь с Хохловой – главные специалисты по Америке.»

Ленка вытаращила глаза: «Ты была в Америке?»

– Слушай, Белова, ты вроде всегда умной в нашем классе считалась. По-моему, это не я с золотой медалью школу закончила. Посмотри на меня! Какая, блин, Америка?

Вот если бы ты сейчас не сказала, я бы и годами не думала о том, что она есть – Америка эта. Мне знаешь, она по фигу. Просто я вспомнила, как мы с Хохликом...

Нинка еще не договорила, а Ленка уже и сама сообразила.

Конечно – точно такая же зима. Их город славился этими серо-тоскливыми зимами. Сначала слякотная, потом вьюжная, потом ледяная. И опять по кругу: слякотная, вьюжная, ледяная. А что им в седьмом классе было до зимы? Как до Америки!

Они были счастливы, несмотря на физически реальное присутствие этой самой вроде бы противной зимы (мама заставляла надевать под платье теплые рейтузы – вот, наверное, единственная неприятность) и метафизическое существование, пожалуй, что придуманной Америки.

Впрочем, про эту другую, виртуальную Америку им пришлось вспомнить.

Вожатая Таня ставила со своим подшефным седьмым «а» пьесу из американской жизни «Снежок». Откуда такое название – никто так и не понял. Вроде бы Снежком называли отвергаемого обществом, а точнее, таким же, как и их седьмым классом, темнокожего паренька Дика. «Снежок» – по контрасту что ли? Этот Дик, был, как и положено афроамериканцу семидесятых годов, очень хорошим, умным, талантливым парнишкой. А на свой цвет кожи он плевал. «Дети разных народов мы мечтою о мире живем» – похоже, этот американский Дик из книжки советского писателя пел те же песни, что и они в своей школе.

Дика поручили играть Димке Михайлову – самому симпатичному мальчишке из их класса. Да нет, он не был самым симпатичным. Он был самым... В общем, он нравился всем девчонкам. Ленке особенно. Она боялась смотреть в его холодноватые светлые глаза, боялась его усмешки, его ума (хотя только они вдвоем и были отличниками в их замечательном седьмом «а»). Еще в четвертом классе Белова не выдержала, сунула Димке в портфель записку, где для конспирации написала по-английски «I love you», а подписалась одной буквой из своей фамилии – Б, впрочем, тоже заменив ее на английский вариант. Получилось как будто русское В. Это Ленку и спасло. Михайлов взбесился ужасно. Прямо как-то даже страшно взбесился. Димке казалось,

что ему нанесли личное оскорбление. Требовал сличения почерков, особенно усиленно проверял тетрадки у всех девочек с фамилией на русскую букву В. Сообразить, что это тоже по-английски, он, несмотря на свой знаменитый ум, почему-то не смог. Ленка отделалась легким испугом, и даже слегка разлюбила Михайлова за бешенство и тупость. И это не забывалось никогда. Но все равно в седьмом классе – любовь вернулась.

Поэтому Лена ни секунду не задумалась, когда ей предложили сыграть темнокожую девочку, подружку Дика, за которую он всегда заступался. И вообще: ей казалось – заступается, значит любит. Ах, как здорово, сыграть это все с Димкой. Две главные роли. Два лучших ученика в классе. В третьем городе России! В самой лучшей в мире стране! На самом деле, Ленка мечтала о роли дочери американского миллионера, красавицы Анжелы, но чего уж там... Во-первых, ясно было, что Анжелу отдадут Наташке Горской – ленивой, неторопливой, балованной, уверенной в себе, да еще и правда, очень красивой их однокласснице. А во-вторых, Анжела в пьесе сидит на последней парте, далеко от Дика, и вообще – у них почти не было общих сцен. Кроме одной: Дик, держа за руку бедную темнокожую девочку, то есть ее, Белову Лену! сурово говорит миллионерской дочке: «Тебя бойкотирует весь класс!» Что говорить: Ленка была счастлива и без всякой Анжелы.

Ее даже не остановило обещание вожатой Тани перед премьерой сделать им настоящий грим. Все ржали, представляя Михайлова и Белову, вымазанных в гуталине. Но ржали не обидно: их обоих любили в классе. И Ленка согласилась на все.

Первая же репетиция привела Михайлова в бешенство. Его раздражали Лена, Таня, пьеса, одноклассники, готовые захохотать при первой же возможности. А Михайлов был личностью! Он просто взял свой портфельчик, сурово заявил, что в этой ерунде участвовать не собирается, и ушел, хлопнув дверью.

Диком назначили Горбушку. Петьку Горбунова – хулигана и двоечника. Наверное, исправить его так хотели. Выразив доверие. Как ни странно, Горбунов согласился: «А че! Пажалста! Сыграю».

Вообще-то Лена его побаивалась. Однажды, подсев к ней, Горбушка полоснул себя ножиком выше запястья, кровь потекла как-то несильно, но очень страшно. А Горбунов взял грязную авторучку и стал затягивать в нее кровь так, как они обычно набирали в авторучку чернила. И стал рисовать смесью крови и чернил. Уговаривая поглядеть...

Вот такой ей достался Дик. Но что же было делать? Все бы догадались.

И Лена крепилась, вида не подавала. «Даже еще лучше, – говорила она себе. – Дик – отверженный и Горбушка отверженный». И играла в паре с Горбуновым. Но руку ему свою давала с опаской. Вдруг ему захочется и Ленкиной кровью что-нибудь порисовать.

– А вспомнила, – прервала Ленкину задумчивость Нинка. – Вспомнила, как Михайлов всех кинул, и тебя – маленькую, кудрявую. У тебя такое лицо было... Мы прямо заметались все.

– Коська, (вдруг откуда-то выскочило детское прозвище Родной речи) вы знали?

Нинка засмеялась так по-доброму, что Лене захотелось чмокнуть ее в широкую детскую мордашку.

– Белка, ну что ты в нем нашла? Ну умный. Ну и что. Что толку от этих умных. Пьют так же, как наши глупые. Хотя... У него такие глаза были...

Вдруг пошел снег, крупными нерадостными хлопьями; со всем застыли ноги в осенних сапогах (старые зимние были со всем позорные: на лекции не наденешь, а на новые пока не хватало), но Лена почему-то не могла уйти.

– Нин, а помнишь, как Тамаша в этом нашем спектакле Вовке Тимину говорила:

«Какой ты жестокий, Джо! Как трудно с тобой дружить!», а на самом-то деле – больше всех с Вовкой и дружила...

(Черт! Как, оказалось, приятно было это вспоминать. Как дорого это было вспоминать. И как легко! Как будто – про вчера.)

А вы с Хохликом там двух пацанов играли. Я прямо весь ваш диалог помню. Ты еще хвасталась наличием валюты.

– Да и я его помню. Нам ведь с Юлькой больших текстов никто не давал. Не верили, что выучим. Батюшки, как подумаю, что она в Америке, так мне ее жалко делается.

Ну что там за жизнь... Майкл, у меня уже 25 центов.

– Где ты их заработал? – машинально продолжила Ленка диалог своих школьных подружек, который крепко держался в ее памяти, как все школьное, что повторено было тысячу раз.

– У меня свой бизнес! – без запинки откликнулась Нинка.

– Какой?

– Так я тебе и сказал!

– Точно, Коська! И больше у вас ведь ни одного слова не было в спектакле?

– М-г... – Нинка почему-то вдруг снова застучала по льду. – Таня сказала, что в этих трех предложениях характеристика всей их поганой американской жизни. Даже дети интересуются только центами. А я че-то до сих пор не интересуюсь. Свой бизнес у меня был только в этом спектакле.

Почему-то Лена растерялась.

– Ниночка, а этот лед? Это твоя работа всегда такая или ты еще что-то, ну там на заводе или что?

Ленка сама презирала себя за это косноязычие, за суетливость и испуг, с каким спросила. Стыдно было за свое относительное благополучие: за непьющего мужа, за квартиру пусть в панельном доме, и на первом этаже, и крысы линолеум продрали, но все равно – две комнаты; за тепло в аудитории, где она чи-

тала лекции вечерникам; за то, что собирались завтра пойти в театр...

– Да ты не переживай, Белочка, – Нинка назвала Ленку самым ласковым вариантом детского прозвища, совсем уже расколов остатки льда. И того, грязного, под ногами. И другого, который мог бы возникнуть... – Сама знаешь: в каждой избушке свои игрушки. Я иногда даже радуюсь: на свежем воздухе, физическая работа. Палач – работа трудная, но что ни говори: ведь все-таки на воздухе, ведь все-таки с людьми.

Родная речь засмеялась, как в детстве.

Ленка видела, что это не сарказм, и не бодрячество. Не притворство. Их любимая добрая Коська совершенно не сердилась на жизнь. Совершенно.

Не считала ее несчастной, пропавшей, неудачной. Просто такая попалась избушка.

– Нин, ты хоть оставь мне свой телефон. А то мы с классом собирались, а твоих координат никто не знает.

– Так мы переехали. Я сама всех потеряла. Пиши.

Родная речь стащила рукавицу, зажала ее под мышкой и быстро выудила из кармана оранжевой жилетки какой-то клочок бумаги: «Девчонки мимо проходили, рекламу сунули. Смешные... Парфюмерный магазин».

Молча смотрела, как Ленка сразу заледеневшими пальцами выводит на клочке бумажки номер. Вздохнула: «А что? Все кроме меня были?»

– Да почти. Хохловой, правда, тоже не было. Из Америки не очень-то приедешь.

– Да... Ох, не представляю, как там Хохлик мучается. И английский она плохо знала. Даже хуже меня. Привет ей передавай, если что. Скажи – пусть возвращается. Нечего!

Нинка надела свою здоровенную варежку. – Где родился, там и пригодился!

И снова застучала по льду.

– Беги, Белочка, вон у тебя сапоги какие тонкие. И позвони, ладно? Я приду. На Михайлова хоть посмотрю.

Снег повалил все сильнее... Лена бежала сквозь него, почти прорываясь. Как будто Герда из сказки Андерсена. Подумала про Герду. Она, кажется, не плакала. А Ленка почему-то заплакала. Бежала, растирая слезы и плакала с удовольствием, захлеб. Про свою жизнь. Про ушедшее детство. Про маму. Про снег этот бесконечный. Про спектакль. Про Нинку. Про первую их любовь. Про Хохлову. Про несчастную Америку.

Майкл, у меня уже 25 центов...

ПТИЦА ПЕГАС

ПТИЦА ПЕГАС

Пока мы живы, нас никто не слышит.
След на снегу крестом привычно вышит,
небесное раскрылось шапито.
Известно всем, что правды нет и выше,
и что там наварили нувориши,
они нам не доложат ни за что.

За стайей стая – небо разомлело.
И непонятно: где душа, где тело.
И даже если будешь щебетать
причудливо, бездарно, неумело,
о воздух спотыкаясь то и дело,
не выйдет повернуть с арены вспять.

И зрители в беспальные ладони
захлопают, и голос твой потонет
в сугробах и под купол не взлетит.
В благообразном пряничном притоне,
в тяжёлой позолоченной попоне,
как ни крути – а дышится навзрыд.

* * *

В расщелину меж бытиём и бытом –
разлаженным, раздерганным, разбитым,
в дыру озонную, заветную войти,
оскальзываясь в космосе открытом,
склоняясь над распластанным корытом,
понять: иного нет у нас пути.

Известно – где по плану остановка.
Стрелять неловко, но в руках винтовка.
И цокает небесная подковка,
и никого нельзя предостеречь.
И на ладони Божия коровка
мычит – и в небо целится, плутовка.
Добытчик резвый, где твоя сноровка?
О чём бишь я? Да не о хлебе речь!

Где родина? И гнётся знак вопроса.
Так отнимают душу без наркоза.
Так рассуждают твёрдо и тверёзо,
покачиваясь, превращаясь в прах.
И просто всё, как во поле берёза.
Кобыле легче, если баба – с воза.
Щекочет ноздри вешний дух навоза,
и птица-тройка жмёт на всех парах.

Куда? Ну, не даёт она ответа.
Меня ссадили – езжу без билета.
Конец туннеля, а быть может, света.
И больше не захватывает дух.
А ночью вспомнишь: возлюби соседа, –
и любишь всех подряд в порядке бреда.

И не припомнишь Нового завета,
покуда трижды не споёт петух.

* * *

Перевожу на славянский тоску с санскрита,
самый последний грош за душою прячу.
Всё отпираю дверь, что давно открыта,
связкой ключей гремлю и беззвучно плачу.

Что я ищущу? Не веру, а может статься,
только её предгорье, её предтечу.
Сколько можно доверчиво улыбаться?
Сколько можно лицо открывать навстречу?

Нет, ничего, увы, не стерпит бумага.
Чиркну спичкой – руки над ней согрею.
Я, всесильная, сделать не в силах шага.
Я, бесстрашная, глаз приоткрыть не смею.

Перевожу с беспамятства и молчанья,
перевожу со всех языков на свете –
на бессмысленный, грешный язык отчаянья,
за который я вечно буду в ответе.

* * *

Простор хвалёных нечистот
лесов, полей и рек венозных.
Словесный собирай помёт,
жук-скарабей в размывах слёзных.

В хитиновой попоне лет,
в тупом сизифовом горенье
всё катит тучный шар поэт,
всё пишется стихотворенье.

* * *

„О светло светлая и украсно украшена земля Руськая!“
(„Слово о погибели земли Русской“, XIII в.)

Варяги тут как тут. Привет Карамзину.
Закрою толстый том и радостно зевну.
О светло светлая!.. Порядка только нету.
Затем и разбрелись мы все по белу свету.

Назад оборотясь, вперёд мы будем плыть.
Кириллица в узде — не та отныне прыть.
Но всё ж не совладать с членистоногим юсом —
наш транспорт гужевой заходит в гавань юсом.

К далёким берегам причалила ладья.
Не воспарить душой чугунного литья.
Гляди — оуклилась арбатская Психея,
всё озирается, всё спрашивает: «Где я?»

Тяжёлый медный ковш давно упал на дно.
Досадно. Между тем, поднять-то холодно,
и жажды сумрачной не утолить отныне.
О светло светлая!.. Настал черёд латыни.

И новый гулкий звук — напрасный приворот —
приблизится, взлетит — и в воздухе замрёт,
когда скривит губу матрешка расписная.
Как долго мы росли, о будущем не зная.

* * *

Живу – пока не надоест
(не выдаст Бог, свинья не съест),
пока река глядит окрест
и выгнута дугой.
Охота к перемене мест –
Норд-Ост зовёт или Зюйд-Вест.
Я смастерю в один присест
чугунный парус свой.

Пространство так искривлено –
взлетая, падаешь на дно.
А там и тихо, и темно,
и некуда спешить.
И мне бы радоваться, но –
луны холодное пятно
мне светит, как в глазу бревно,
и больно ворожить.

* * *

Прекрасно остаток жизни уютиться в слове.
Стило всегда наготове
нырнуть в никуда.

Душа без стыда
выворачивается наизнанку
(это, конечно, портит её осанку).
На пепельном фоне атомной бури –
дыхания неземной ветерок.
Всё бы крылатой восторженной дуре
парить между строк,
покуда они не сомкнутся,
как застежка-молния над головой.
Никак до небес не дотянуться,
милый ты мой.

* * *

В сосредоточенном угаре
творят как дышат божьи твари.
Кто резвой ножкой ножку бьёт,
кто словом по душе скребёт,
кто над палитрой пламенеет –
и всяк бессмертен как умеет.

* * *

Искусство – это такая штука,
когда ты становишься частью звука,
когда ты от слова живешь до слова –
и больше нет ничего святого.

* * *

Там, где дом возведен против всяких правил,
где тебя навещает апостол Павел,
где ни эллина, ни иудея нет, –
только трын-трава да неближний свет.

Там, где горы твои и твои долины,
корабли плывут, выгибая спины,
и на лодке Харон – по твоей реке –
налегке плывет еще, налегке.

* * *

На рассвете, когда лица еще темны,
во лбу прорастает третий глаз.
И я, виноватая без вины,
прощаю того, кто меня не спас.
Он беспечен, будто глухарь на току.
Бесшумно вламывается конвой.
Передвигаются по потолку
серые тени вниз головой.

* * *

Эта вечная бочка грохочет над нами,
и потоки воды, а не кровь под ногами.
Видно, вправду сегодня еще не конец.
Не сегодня нам в сердце загонят свинец.

Эта зыбкая жизнь – за беспечность расплата.
Бесконечен период полураспада,
где над нами сгущается мрак проливной.
Нелюбимый, нелюбящий, – плачь надо мной!

* * *

Свой шаг сбивая набекрень,
надсаживая слух и зренье,
цеди по капле мутный день,
выхаживай стихотворенье.

Его рифмованный недуг
неизлечим, и зоркий звук
всё понимает: ты интригу
загнал под землю – ловкость рук.
Зачем ты, обернувшись вдруг,
не спас когда-то Эвридику?

* * *

Твой герой хорош на вид,
и всему-то он учён,
даровит и плодовит
и не помнит ни о чем.

Он приветлив, хамоват,
вечно голоден и сыт,
и сам чёрт ему не брат,
он на ниточке висит.

Глянь, выделяет па:
как пройдётся на руках –
благодарная толпа
только вскрикивает «ах»!

Вот и лопнули тяжи:
и в окошко он, и в дверь.
Ты держи его, держи,
да не верь ему, не верь!

* * *

Давай с тобою спляшем
в чумном бараке нашем –
не век же слёзы лить.
Остановись, мгновенье!
...Лишь ветра дуновенье
качнёт паучью нить.

Не пляшется, гляди-ка:
от мала до велика
все замерли – и ждут,
пойдет ли брат на брата.
Уже близка расплата,
и пляски не спасут.

* * *

Зарешеченный вагон.
Огнедышащий закон.

– Кто не с той ноги хромает,
тот наносит всем урон!

Так вещает царь зверей –
голосистый воробей,
змей летучий, зверь могучий,
птица сумрачных кровей.

* * *

Землетрясение в Турции. У нас
пока что тихо. Но не ровен час...
Не стоит продолжать. Покой нам снится.
Журавль – в небе, а в руках – синица.
(Отныне я даю себе зарок
всё главное оставить между строк.)
Раскрашенное жаркое светило
за край холста заходит, чтобы с тыла
ударить на прощанье. А покой
всё ближе, вот уже – подать рукой.

* * *

Лирический компот
сварили мы на славу.
Уже который год
мы эту пьем отраву.

Пиши, мой друг, пиши,
как я, о всяком вздоре, –
в отеческой глуши,
на сумрачном просторе.

* * *

Заходит ночь – и заполняет дом,
поёт мне половицей о былом,
застывшем в пыльном воздухе. Не надо
настаивать на жизни, что ушла.
Пусть сумрака горячая смола
вольётся в кровь живую – вот награда.
Здесь нет и не бывало никого.
Пусть всё вокруг, что без тебя мертво,
из этого не делает секрета.
А времени пустоты велики,
как расстоянье до твоей реки.
Поставим точку в середине лета.

* * *

Не видать берегов, как своих ушей,
океана тишайшего не переплыть.
Ты суровою ниткой мой рот зашей,
чтобы мне, как вода эта, тихой быть.

Затаилась жизнь, вся ушла в песок –
от земных щедрот поспешила прочь.
Ты глядишь на запад, я – на восток,
ты живёшь, как день, – я живу, как ночь.

* * *

Пустеет поле жизни. Тишь да гладь.
Оглобли поворачивает вспять

слепой возница, чародей бескрылый.
Над бесконечной братскою могилой –
там, на сырой фанере октября,
чернеет лес, но, правду говоря,
не тянет под его крутые своды.
Уже понятно, что там впереди.
Постой, бескрылый ангел, погоди –
скажи, неужто нет иной свободы?

* * *

Откроешь дверь, а там НИКТО –
вот наказание за то,
что плоть отделена от духа.
Ложусь на голую скамью
и колыбельную пою,
но в музыке царит разруха.
Пятнистый проскрипит паркет,
чей это – через годы – след?
Куда исчезли те, кто были?
Но стол с бумагами молчит,
вербальный исчерпав лимит,
и прогибается от пыли.

* * *

Мы в разлуке с тобой преуспели.
Мало помнили – много хотели,
а теперь и забыли совсем,
как нам пели осины и ели,
следом птицы – лесные свирели –
продолжали любую из тем.

Да и мы не молчали, покуда
не явилось на свет из-под спуда
безнадёжно слежавшихся лет
это пламя – для речи остуда.
Нелегка бессловесная смута,
для которой названия нет.

* * *

Густая ночь колышется, как зыбка,
и зреет за ошибкою ошибка,
и нет решенья у простых задач.
Вольно ж тебе прислуживать без страха
тому, кто платит по счетам с размаха –
с налёта – по щекам – и плачь не плачь.

Здесь бредит зной, и в тесноте убогой
растёт сорняк, но ты его не трогай:
он выгнет спину и оскалит пасть.
А может быть, стена и есть дорога –
всё вверх и вверх? В преддверии итога
карабкайся – да так, чтоб не упасть.

* * *

Постойте!
Никогда не говорите: это неправда!
Может быть, я последний из могикан,
которого прикололи булавкой к странице.

Погодите,
я умею летать против ветра.
В конце концов,
это моё право,
я так хочу.
Но только не смотрите мне в спину,
когда я, открывая лицо, иду вам навстречу.

* * *

Песнь песней перед закатом.
Зачем ты стараешься,
сидя на ветке,
глядя на колченогий город?
Роняешь перо за пером –
уже написана книга книг.

* * *

У каждого свои скрижали.
Что мы не сеяли, то жали –
спасибо дедам и отцам.
Уверовал сверчок запечный
в державный мир пятиконечный,
привык Емеля к чудесам.

Но рухнула постройка века,
где всё – на благо человека,
как калий цианид в крови.
Куда ты делась, честь и совесть?

Так беспощадна эта повесть:
читай – и в три ручья реви.

Но мы недолго горевали –
назад дорожку протоптали
и на врагов пошли стеной.
И каждый стал – герой героем:
«Мы наш, мы новый мир построим
в бревенчатой избе курной».

Вернулись мы к своим пенатам,
где обитает буйный атом
и процветает мирный яд.
Как дым отечества клубится!
Летит степная кобылица –
летит, куда глаза глядят.

* * *

Я Бога ждала. Он пришёл и сказал:
„Поедем сегодня с тобой на вокзал.
На сборы даю тебе четверть часа.
Любая дорога ведёт в небеса“.

Вадим Перельмутер

ИЗ МАТЕРИАЛОВ К БИОГРАФИИ ОДНОЙ КНИЖКИ

Лет десять тому назад (точнее не скажу – точная дата выветрилась из памяти, а под тогдашним текстом надобности в ней, естественно, не было), в день рождения Геннадия Моисеевича, я отправил ему письмо. Сегодня могу только повторить и как бы заново подписаться под сказанным тогда. Вот оно.

Дорогой Геннадий Моисеевич,
больше тридцати лет тому назад я познакомился с писателем «Борисом Хазановым» – среди провезённого из загранкомандировки приятелем-физиком «тамиздата» была повесть «Час короля». Начал читать её вечером – и закончил к утру. Такое – тогдашнее – чтение, без реальной надежды на повторную встречу, на перечитывание, совершенно по-особому настраивало память. И когда лет пятнадцать спустя раскрыл изданную в Москве Вашу книгу, оказалось, что перечитывать «Час короля» нет нужды – помню всё, подробно, от первой до последней страницы. Как помню и поразившее меня ощущение полной внутренней свободы автора, свободы мысли, без видимого усилия находящей слова – точные, прозрачные, единственные.

Я хочу воспользоваться тем, что похвальное слово легче написать, нежели сказать в непринужденной беседе.

Я рад, что полтора десятка лет назад судьба подарила мне встречу с Вами.

Я знаю мало писателей, у которых мне было бы интересно всё, что они сделали и делают, от притчи до романа, от лирики до публицистики. И не устаю удивляться замечательным неожиданностям, на которые Вы столь щедры.

Спасибо Вам!

Ваш Вадим Перельмутер.

Р. С. Эта книжку – «Запах звёзд», – где впервые был напечатан «Час короля», изданную в Тель-Авиве в 1977-м, подарил мне в 1993-м, в Фонтене-о-Роз Андрей Донатович Синявский. Теперь она у меня на полке. С инскриптом автора...

А шестнадцатого января 2018-го мы с Семёном Гурарием устроили и «на пару» вели задуманное и организованное за несколько месяцев до того празднование девяностолетия Геннадия Моисеевича. В присутствии – и с участием – многих, кто любит, знает, читает Бориса Хазанова. Кто смог приехать из других городов – приехал, кто не смог – прислал видеопоздравление – из Москвы, Санкт-Петербурга, Иерусалима.

Желающих «слово сказать», объясниться в любви, набралось немало. Не отказали никому. Однако, чтобы не чересчур утомить юбиляра, мы заранее – всем! – задали жёсткий регламент: пять минут, ничуть не больше, – и чтобы каждый, кто хочет выступить, кроме собственных слов, озвучил короткий фрагмент, особенно впечатливший, запомнившийся ему при чтении книг писателя. И выяснилось в итоге, что «растекаться мыслию по древу» вовсе не обязательно и что пять минут – совсем немало, когда есть, что сказать, кто читал свои тексты на публике, знает, что в этот «отрезок времени» вмещается две с половиной страницы, пять тысяч «печатных знаков», таков, к слову, стандартный формат газетной «колонки». Если есть, что сказать...

Всё действие продлилось, как намечалось, – ровно полтора часа.

Потом был торт – «90» – под шампанское, чай, кофе, кому что по вкусу. И длинная очередь к юбиляру – поздравлений «тет-а-тет». При десятках свидетелей.

И Геннадий Моисеевич сказал мне, что такого замечательного дня рождения он и представить себе не мог.

И правда – не мог. Потому что вся подготовка велась в глубокой тайне от него. И он ехал, верней, везли его просто на «авторский вечер», каких в жизни Бориса Хазанова было немало...

А наутро, почти спросонок, полагаю теперь, что «продолжением» давешних впечатлений, подумалось, что хорошо бы сделать подарок Геннадию Моисеевичу к следующему дню рождения. Издать книжку, какой у него ещё не было.

С тем и позвонил в Москву – поэту Максиму Амелину, он же – главный редактор издательского комплекса, куда входят «Б.С.Г.-пресс», «ОГИ», «Рутения». Максим ответил-возразил, было, что Хазанова издавали многие издательства, а он с коллегами настроены преимущественно на то, чего другие не делали. Именно это я и предложил: все издавали прозу, а я хочу сделать небольшую книжку эссеистики Геннадия Моисеевича, которая мне очень нравится, – о литературе и писателях прошлого-позапрошлого веков и о том, на какие размышления это наводит писателя современного, хорошо знакомого с тем что *уже было* и *как было*, говоря условно, возможна ли поэзия «после Аушвица», в чём сильно сомневался Адорно, и проза, ну, скажем, после Флобера, Томаса Манна и Борхеса...

Всё это опубликовано, рассеяно, подчас и затеряно в периодике, а книжки такой у Хазанова никогда не было.

Амелин попросил несколько дней на раздумья, то бишь искал в Интернете, прочитал-перечитал кое-что, – и согласился.

А на вопрос: сможем, успеем ли ровно за год, к середине будущего января? – ответил: «Постараемся».

И мы начали *стараться*.

Геннадия Моисеевича моя затея обрадовала. И он дал мне «карт-бланш» на составление книжки. Договорились, что он лишь проглядит-перелистает составленное мною, выскажет, где найдутся, свои пожелания – и *в путь*.

Однако работа оказалась посложнее, чем я поначалу предполагал. Потому что такой эссеистики, уже читанной мною, за долгую жизнь автора накопилось немало, а мне с самого начала книжка виделась небольшой, *психологически* подобной книжечке стихов, по первому впечатлению, одолимой «в один присест», когда, лишь раскрыв и начав читать, вдруг, чуть ли не физически, ощущаешь, как замедляется время, растягивается, требует пауз в чтении – для додумывания мыслей и дослушивания ритмов, для сопоставления узнанного с тем, что знал, о чём думал прежде.

Так что выбор был непросто и небыстр. И несдержанный вздох облегчения, когда и Хазанов, и Амелин одобрили тот выбор. Разве что Геннадий Моисеевич попросил (!) добавить ещё одно эссе, что мы с удовольствием сделали.

Я предварил книжку кратким эссе собственного изготовления (повторяю его в конце этих заметок). А потом...

Потом в биографии книжки возник эпизод-фрагмент, я бы сказал, *стильный*, то бишь в стиле всей затеи.

Раздумывая над обложкой, Максим Амелин сыскал в Интернете картинку, которая, по его мнению, замечательно для этой книжки годилась. По моему впечатлению – тоже. Естественно, требовалось получить на то согласие автора – нидерландской художницы Annemarieke Kloosterhof. Живущей, как удалось Мак-

симу выяснить, в Лондоне. Благо, нашёлся электронный адрес. И Максим написал ей письмо. Вскоре получил ответ: дескать, предложение ей лестно, вот только писателя такого, Бориса Хазанова, она не знает, никогда о нём не слышала и хотела бы узнать – с кем ей предлагают «соседствовать».

Надеюсь, Максим простит мне прямую, кабы не сказать – грубую лесть, но выход из весьма непростой ситуации он нашёл, по-моему, блестящий. Просто послал ей ссылки на размещённые в Интернете сочинения Бориса Хазанова в английском, немецком и, если верно помню, французском переводах. И согласие последовать не замедлило...

Пятнадцатого января 2019-го – звонок от Амелина: «Книжка в издательстве. На днях высылаем – Хазанову и Вам».

На следующий день позвонил я Геннадии Моисеевичу – поздравил. И сказал о подарке. Которого, правда, придётся немного подождать – почта-с... Но он есть. Успел.

И вот что написано было мною об этой книжке. В этой книжке.

ПИСАТЕЛЬ КАК ЧИТАТЕЛЬ

Когда нет ничего под руками, искусство начинает рассказывать о себе и на этом сюжете развязывает язык...

Абрам Терц

...Впрочем, не только тогда. В любом из искусств есть время и место, в которых художники размышляют, говорят, пишут

об искусстве. Будь то живопись, музыка, литература. И отличаются их размышления от сочинений искусствоведов прежде и более всего тем, что они, художники, там не *работают*, они там живут.

Евгений Шварц, упомянув о знакомстве своём с известным историком-исследователем литературы, удивленный, признался, что не понимает литературоведа, «в котором не осталось хоть сколько-нибудь читателя». Ибо как он может изучать творчество тех, в ком *читателя* – много?

Без малого триста лет назад молодая *авторская* русская литература пустилась вдогонку литературам наиболее просвещённых европейских стран, возникая под пером именно *писателя как читателя*. Читателя поэтов и прозаиков античности и более поздних, вплоть до современных ему французских, английских, итальянских, испанских, немецких. И переводчика – потому что перевод ведь тоже не что иное, как чтение, прочтение, попытка эмоционально точно передать свое *впечатление* от прочитанного.

Русский писатель как читатель *учился* – тому, что иноязычные авторы замечательно умели делать. Это, при желании, нетрудно проследить – от Василия Петрова и Михайлы Ломоносова, привезшего, напомним, из Германии и привившего русской поэзии силлабо-тонику, куда более органичную, как выяснилось, для полиритмичного русского языка, нежели неповоротливая силлабика, до Ивана Крылова и Ивана Дмитриева.

В позапрошлом веке эти печатные писательские размышления-разговоры о литературе продолжились, постепенно всё более адресуясь к читателям. О Бенжамене Констане и Викторе Гюго, о Гёте и Шиллере, о Шекспире и Байроне, etc. Лучшие русские писатели были превосходными читателями. И творили уникальный опыт: воспитания-развития *своего* читателя. Который бы читал авторов-соотечественников так, как они, писатели,

читают других, иноязычных. Потому что в искусстве чтения, как и положено в искусстве, *что* и *как* слиянны.

Опыт удался. Правда, не без курьёзов, один из коих иронически отметил век спустя Набоков, объясняя оглушительный успех у читающей публики топорного романа Чернышевского «Пролог»: «Гениальный русский читатель понял то доброе, что тщетно пытался выразить бездарный беллетрист». Однако сие – частность...

Думается, можно сказать, что именно следующее поколение таких читателей обеспечило успех русской литературе *нового времени*, рубежа девятнадцатого-двадцатого столетий.

Этот краткий и, разумеется, далеко не полный исторический экскурс понадобился мне, дабы прояснить, если угодно, *генетические происхождение* книги Бориса Хазанова, возникшей в нынешнюю пору кризиса неторопливого, *умного* чтения. Не без сомнений – в существовании *адресата*: «Кто такие наши воображаемые читатели, есть ли у нас вообще читатели. Поистине скандальная тема нашего времени. Оставим её в стороне: о плачевной участи литературы, вытесненной на обочину в массовом телевизионном обществе, сказано достаточно».

Вот для этих, быть может, «воображаемых читателей» Борис Хазанов *медленно* читает классиков двух последних веков: Флобера и Достоевского, Гёте и Тютчева, Джойса и Пруста, Томаса Манна и Борхеса, Бруно Шульца и Маргерит Юрсенар... Читает *замечательно* – то бишь замечает многое – и важное, что ускользало, проскальзывало при их чтении, вероятно, не только у меня.

И для себя я бы выделил написанное им про Пауля Целана. Поэта, с которым русскому читателю, не знающему языка оригинала, особенно не повезло. Предпринятые донныне попытки перевода на русский не дали уловить, хотя бы отчасти, гениальности этого поэта. Борис Хазанов предлагает свой перевод самого знаменитого и значительного сочинения Целана – «Фуги

смерти». Перевод прозаический. С оговоркою, что некоторые – существенные – утраты в этом случае неизбежны. Тем не менее перевод производит впечатление сильнейшее. И заодно понимаешь, почему именно этот поэт сделал – своими переводами – популярнейшим в Германии одного из русских поэтов двадцатого века – Мандельштама...

«Читайте хороших стилистов, – советует Борис Хазанов. – Что такое стиль? В самом общем смысле – преодоление хаоса. Ничто так не очищает душу, как чтение хороших стилистов».

Хочу повторить за ним – читайте хороших стилистов.

Одним из которых написано «Оправдание литературы».

Вадим Перельмутер

P. P. S. Читайте хороших стилистов...

...Признаюсь, наконец, что выбрал из написанного Борисом Хазановым эссеистику не только потому, что такой книжки у него прежде не было, но и по собственной любви к этому жанру, такому, по видимости, иллюзорно-свободному, но едва ли не строже, чем *проза*, которая, по слову классика, «требует мысли, мысли и мысли», занимающемся тем же самым. К жанру, пристрастному прежде и более всего – к *приключениям мысли*.

Тем и привлёк меня однажды персонаж, чьи знаменитые приключения вполне традиционно много лет было принято считать необузданным разгулом фантазии...

ТРЕТИЙ ВЕК ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ БАРОНА МЮНХАУЗЕНА

Двухсотлетие со дня смерти «исторического» барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена (1720–1797) почти совпало с завершением второго тысячелетия новой эры и дало весомый повод подвести своего рода итоги, поразмыслить об одном из самых удивительных феноменов в истории европейской культуры. И отсчет не от рождения, но именно от кончины, здесь вполне оправдан. Это – момент, если угодно, окончательного превращения реально существовавшего человека в литературного, шире – в мифологического героя, «загробная» судьба которого – под стать *историям*, его прославившим при жизни.

Биография барона – для XVIII века – вовсе не уникальна. Люди нередко живут похоже друг на друга – и разница между ними обнаруживается лишь в том, как они пользуются плодами прожитого и пережитого.

Юношей Мюнхгаузен, будучи пажом в свите герцога Брауншвейгского, попал в загадочную, влекущую любознательных европейцев Россию – и надолго остался в ней.

Подобно многим своим соотечественникам, он искал не столько приключений, сколько светского успеха и служебной карьеры, тем более вероятных, что в России к иностранцам явно благоволили. Выдающегося успеха барон не добился, однако и неудачливым его не назовешь.

Двадцатичетырехлетним он командовал в Риге караулом, встречавшим княгиню Елизавету Анхальт-Цербстскую и ее дочь Софью Фредерику Августу, будущую императрицу Екатерину II. Затем участвовал в Русско-турецкой войне, проявил себя храбрым воином и находчивым командиром. К тридцати годам до-

служился до ротмистра – свидетельствующая об этом Грамота, подписанная Елизаветой I, разумеется, сохранилась среди его бумаг.

Пожил в обеих российских столицах, поездил по городам и весям, благодаря живому и общительному нраву свёл множество разнообразных знакомств. И не слишком преуспевший материально, но богатый впечатлениями, выйдя в отставку, возвратился в свой замок Боденвердер.

Вскоре среди ближних и дальних соседей распространилась слава о хозяине, щедро потчующем гостей добрым вином, отменной едой и занимательными рассказами о невероятных приключениях.

Без десятилетий российской жизни того Мюнхгаузена, которого узнали современники – и которого знаем мы, – попросту не было бы.

В этой *terra inkognita*, в России, по мнению европейца, там не бывавшего, возможно всё, что невообразимо в Европе.

Спрос рождает предложение: Мюнхгаузен так и представлял Россию своим слушателям. Можно сказать, что он на свой лад знакомил с нею, гиперболизируя – и тем самым подчеркивая – её особенности. Обильные снегопады – церковная колокольня, господствующая над окрестными строениями, от которой над снегом виднеется лишь кончик креста. Мороз, от которого даже звук замерзает в рожке ямщика. Безмерные пространства, которые можно преодолеть разве что с фантастической скоростью. И так далее.

Обманчиво-простодушные фантазии барона, если взглянуть и вдуматься, свидетельствуют и о знакомстве с немалочисленными «Записками» европейских путешественников по России, его предшественников. Мюнхгаузен как бы собирает воедино, почти до неузнаваемости преломляя собственным воображением

ем, всё необычное, бросающееся в глаза европейцам, он словно выковыривает изюм из их булок: невероятности, которые были у них приправой, у него становятся блюдом.

При этом некоторые гиперболы в историях барона – не просто литературного, но, можно сказать, античного происхождения, о чем по сию пору не задумывались, вероятно, из-за демонстративной *внелитературности* Мюнхгаузена. Чем, например, замерзший в рожке звук или поглотивший колокольню сугроб так уж отличаются от описаний из «Скорби» Овидия, где дождь, не долетая до земли, превращается в подобные мраморным ледяные колонны, а вином торгуют, откалывая куски от глыб, заледеневших в форме кувшинов.

Овидий описывал римлянам юг современной Молдовы, Северное Причерноморье. Мюнхгаузен изображал Центральную Россию обывателям окрестностей Гамельна и Ганновера...

Увлекательные устные рассказы существуют во все времена, однако редко доходят до потомков, разве что едва различимым эхом.

Не то – с Мюнхгаузенем.

В восьмом номере берлинского журнала «Путеводитель для весёлых людей» (*Vademecum für lustige Leute*) на 1781 год появилось шестнадцать рассказов, автор которых укрылся за аббревиатурой «М-Н-S-N». А в девятом номере на 1783 год – еще два.

Сам ли барон взялся, наконец, за перо, либо один из его слушателей – и, вероятно, не без согласия рассказчика – изложил услышанное, как сумел, – впоследствии выяснить не удалось. Доподлинно известно лишь то, что Мюнхгаузен ни в какие споры об авторстве не вступал. Ни тогда, ни два года спустя, когда известный литератор и ученый Р. Э. Распе обработал, перестроил, дополнил и, переведя на английский, выпустил – под

своим именем – в Лондоне книгу рассказов барона Мюнхгаузена.

Парадоксальное это появление немецкой книги сперва в Англии и по-английски оказало заметное влияние на её дальнейшую судьбу. Английский читатель, уже знавший гениальную книгу Свифта, успевший сжиться с Гулливером и посопутствовать ему в необыкновенных путешествиях, был совершенно готов принять, признать, полюбить Мюнхгаузена. Немецкого барона, который, подобно Гулливеру, отправился в *неведомое*, где может встретиться – и случиться – всё, что угодно.

Издание следовало за изданием, в каждое следующее Распе вводил поправки и дополнения, в частности, пятое пополнилось «Вторым путешествием на Луну», явной переключкой с Гулливерским государством лапутян.

Мюнхгаузен, кстати, упоминает Гулливера, начиная рассказ об этом своём путешествии...

А вскоре совершилось ещё одно путешествие Мюнхгаузена: вместе с книгою он перебрался с острова на континент, из Англии в Германию. Немецкий перевод второго английского издания (1786) осуществил автор знаменитой «Леноры», один из вождей «Бури и Натиска» Г. А. Бюргер. Как отнесся к этому всплеску славы барон Мюнхгаузен – неизвестно.

Судя по некоторым сведениям, он был знаком и с первым, и со вторым своим *соавтором*. Оба у него в гостях бывали, вероятно, слушали его рассказы. И обоих он пережил.

Кстати, то, что при живом бароне два писателя издавали и, дополняя, переиздавали его рассказы, вероятно, создавало у читателей впечатление, будто вечера в Боденвердере продолжаютя.

Смерть Мюнхгаузена прошла незамеченной. Европе было не до него. Её внимание целиком поглотила Великая французская революция, разрешившаяся явлением Наполеона.

Не потому ли, кстати говоря, Франция была – и остается – единственной европейской страной, где три четверти века не было полного – взрослого – перевода этой книги? А когда он, наконец, появился, никакого впечатления на читающую публику не произвел и вскоре был позабыт – еще почти на полтора столетия.

И только на излете двадцатого века, когда в издательстве «Verdier» запланировали выпуск перевода повести Сигизмунда Кржижановского «Возвращение Мюнхгаузена», был – *в помощь будущим читателям повести* – переиздан старый (к сожалению) перевод «Приключений Мюнхгаузена» Г. Бюргера. Впрочем, и на сей раз «оригинал» заметного успеха не обрел...

Думается, барону во Франции не повезло, так сказать, *исторически*.

Перед Великой своей революцией французы вдоволь находились с Вольтером, в добавочных поводах к смеху у них не было нужды.

А после – и надолго – стало не до веселья.

Тем интереснее, что эхо того первого издания, не услышанное во Франции, разнеслось по всей остальной Европе: оно дало миру *хрестоматийный* облик барона – в иллюстрациях Гюстава Доре...

Возникновение книги о Мюнхгаузене после трудов, составивших славу немецкой философии, после обозначивших завершение «Бури и Натиска» «Страданий юного Вертера» Гёте, «Леноры» Бюргера и «Разбойников» Шиллера ретроспективному взгляду представляется естественным и логичным. Напряжение философской мысли и романтического прорыва во внутренний мир человека уступило место иронии, небывальщине, бурлеску.

Истории барона Мюнхгаузена выглядели собранием великолепно выдуманных фантазий-курьезов, увлекательным чтением, где современники с удовольствием опознавали намёки на исторические события и пародии на известные им сюжеты, вплоть до библейских и «житийных», вроде оленя с вишневым деревом на голове – иронического двойника оленя святого Губерта с крестом между рогами, что в религиозных условиях Германии было и более привычным, и менее рискованным, чем в иных христианских странах.

Весьма любопытно и то, что в качестве автора-героя «низкого» жанра немецкой городской литературы – шванка – выступает барон. Прежде он обитал бы в литературе иного ранга и толка. Но дворянская эпоха клонится к закату. XIX век – ее агония...

Понятно и то, что едва ли не более популярным, чем в Германии, сей персонаж стал в России, где книгу тут же стали переводить и бесчисленно переиздавать и где она вызывала смех поистине гомерический, одновременно служа поводом к морализаторству на тему хвастовства и вранья... Но и только. Даже когда, после «анонимных», без имени автора на обложке, изданий, появился, наконец, перевод книги Бюргера, русские романтики странным, по мне, образом, не обратили внимания на фамилию немецкого «коллеги»...

Однако, по мере углубления в XIX век, отношение к Мюнхгаузену и его рассказам менялось. Чем дальше уходил во времени персонаж от своего автора, тем заметнее было, как этот, казалось бы, сугубо национальный образ-миф поистине триумфально входит в европейскую культуру, становится в ней одной из заметнейших фигур. По всем приметам обреченный остаться фактом истории литературы, не более того, Мюнхгаузен выходит далеко за её пределы. А его популярность в XX веке ещё выше,

чем прежде. И странным образом к ней добавляется актуальность.

«Вопросительный знак – это состарившийся восклицательный». Потомки видят не то, что современники, иначе расставляют акценты и прочитывают метафоры.

Освободившись от старых мифов, сознание человека XX века оказалось во власти мифов новых, пусть отдалённым, но все же родством связанных с прежними. И оно ищет союзников – для освоения фантастического пространства действительности.

Постоянные столкновения с политической, например, предвыборной мюнхгаузениадой, неоднократным – задним числом – переписыванием истории и её героизацией и тому подобное, естественно, и сохраняет, и усиливает интерес к Мюнхгаузену, чьи гротескные подвиги соседствуют с убийственной иронией в адрес властителей и полководцев, тем более великих, чем больше чужих жизней погубили.

Не только в Боденвердере, но в других германских землях можно встретить неожиданно «классический» памятник этому герою – верхом на половине коня, тщетно пытающейся утолить жажду, чтобы снова броситься в беспощадную битву. А в это самое время вторая половина коня с неменьшей страстью предаётся занятию противоположному – *жизнетворит*, покрывая мирно пасущихся на лугу, вдали от сражения, кобыл. Вот только потомство от тех соитий военной поры оказывается нежизнеспособным...

Столь же неожиданно отзвуки приключений барона обнаруживаются в пространстве и времени, в делах и мыслях, казалось бы, весьма отдалённых от сего персонажа.

Скажем, тоннели, соединившие японские острова Хонсю и Хоккайдо (1988) и Францию с Англией (1994), чем не реализа-

ции Мюнхгаузенова *проекта* соединить подводным тоннелем Турцию с Европой?

А вытаскивание себя за волосы из болота, да ещё и вместе с конём, – не выглядит ли ныне чисто экзистенциальной метафорой?

Ну, и так далее...

Разумеется, не случайно первой – и неизменной, долгой – любовью стал Мюнхгаузен и для искусства XX века – кинематографа.

Первой – потому что *первым* из множества классических собратьев своих барон появился на киноэкране. В 1902 году.

Двадцать пять лет спустя Иван Иванов-Вано снял первый советский мультипликационный художественный фильм. О Мюнхгаузене.

В 1942 году, собираясь отметить двадцатипятилетие киностудии «UFA», правительство воюющей Германии выделило невероятную, прямо-таки мюнхгаузеновскую сумму – пять миллионов рейхсмарок – на съемки фильма «Мюнхгаузен». По валютному курсу того времени, это – примерно нынешние шестьдесят миллионов долларов. С учетом более чем полувековой естественной инфляции, считающийся *рекордным* в кинематографе XX века двухсотмиллионный бюджет съемок «Титаника» (1998), пожалуй, был бы должен потесниться на «пьедестале». То бишь Мюнхгаузен мог бы похвастаться и тем, что стал героем самого *дорогого* фильма столетия.

Сценарий был заказан... Эриху Кестнеру. Одному из самых популярных прозаиков и поэтов Германии. Тому самому, чьи книги в середине тридцатых жгли на площадях, что означало, если не полный запрет на профессию, то, во всяком случае, невозможность публиковать написанное – и прошедшее цензуру – под собственным именем. Потому в титрах сценарист был со-

крыт под псевдонимом Бертольд Бюргер (не без намека на автора первого немецкого издания книги – не *потомок* ли?). Кестнер артистично и остроумно вписал *канонические* приключения героя в собственный, вполне «мюнхгаузеновский» сюжет, сделал их, так сказать, *мемуарными отступлениями*, а канву-действие перенёс в Германию 1930-х годов. «Бессмертие» Мюнхгаузена с иронической убедительностью объяснил встречей его в России с графом Калиостро, который и поделился с бароном сокровеннейшим своим секретом.

(Отмечу, кстати, что Геббельс, чьё пропагандистское ведомство заказало сей фильм, узнав, кто скрывается под псевдонимом сценариста, был взбешён. Однако менять что-либо уже поздно было, пришлось ему смириться.)

Режиссёром фильма был Йозеф фон Баки, славившийся изобретательностью в создании технических новинок и спецэффектов, призванных заморозить и поразить публику (замечу в скобках, что изрядная часть *наработанного* им была во второй половине сороковых вывезена американцами в США и верно послужила Голливуду в его послевоенных успехах; так что и тут барон, можно сказать, *отметился*).

Главную роль сыграл Ханс Альбертс, любимец немецких зрителей. И любовь первого из них, фюрера, стала для артиста трагической – ему было после войны на десять лет запрещено играть в театре и в кино. И уже не довелось вернуться в профессию...

Эффект фильма превзошел ожидания, не заморозил – потряс. Потому что в искусство вмешалась действительность. Премьера состоялась третьего марта 1943 года. В день первой массовой бомбардировки Берлина авиацией союзников...

Нюрнбергским судом – по требованию советских представителей – фильм был запрещён и на много лет упрятан от публики. Хотя никакой такой «агитации и пропаганды» там нету и в помине, в чем ныне убедиться нетрудно...

Из послевоенных киноверсий стоит, по-моему, отметить чешскую (режиссера Карела Земана, 1961), соединившую – «на равных» – приемы игрового и анимационного кино и премированную за это в Канне.

И *звёздный час* Григория Горина и Марка Захарова – «Тот самый Мюнхгаузен» с неотразимым Олегом Янковским (1979). Здесь и приключений-то нету, они давно уже стали историей, о которой говорят, в которую не верят – и чем настойчивей не верят, тем больше говорят. Просто потому, что рядом с говорящими... *тот самый Мюнхгаузен...*

Кстати, о финале фильма. О том, *как* барон отправляется на Луну. Во второй раз.

Горин, разумеется, внимательно читал книгу и знал, что Мюнхгаузен побывал на Луне дважды. Сначала, так сказать, по необходимости, потом – волею обстоятельств. И что пушка тут не при чем: на ядре он летал «горизонтально» – с иною целью и тоже дважды, туда и обратно.

А из пушки на Луну отправил трех своих героев Жюль Верн. Через три года после выхода первого французского перевода книги о бароне (а первый фильм по этому роману был снят почти одновременно с *первым* «Мюнхгаузеном», в том же году).

Но ведь и барон мог бы...

В последние десятилетия прошлого века и лента эта, и её создатели стали желанными, любимыми гостями в Боденвердере.

Позже было американское зрелище, где возмущённый барон брался опровергнуть выдумки авторов книг о нём и... увязал в *дежа вю*.

И так далее.

Последний (пока) «Мюнхгаузен» появился на экранах два года назад.

А всего мне удалось насчитать более двух десятков фильмов – за сто с лишним лет. Впрочем, полагаю, мой список не полон...

Барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен вовсе не спешит в почётную ссылку – историю. Ему, похоже, ещё не наскучило быть современником очередных потомков. И, по всему судя, нескоро наскучит путешествовать в будущее, где чувствует он себя, как в собственном замке...

1998 – 2014

И – несколько стихотворений, возникших как бы «на полях» занятий историей литературы, чтения разнообразных авторов и письма про них. И в коротких паузах-передышках между этим.

Так, готовя книгу-альбом «Корней Чуковский для детей и взрослых», задуманную лет пятнадцать назад и вышедшую, наконец, совсем недавно, перечитывал бог весть в который раз «Муху-Цокотуху». И вдруг сообразил-заметил, что тем же самым, «частушечным» – *игровым* – хореем задолго, за четверть века до этой детской сказки, написана была «великим пролетарским писателем» героическая, даже, как представлялось автору, эпическая «Песня о буревестнике».

Ну, как тут было не сымпровизировать в манере «классика»!

ПЕСНЯ О МУХЕ

Над седой равниной моря
Реет Муха-Цокотуха,
То ли правит к жарким странам,
То ли просто заблудилась,
Тем не менее, однако,
Реет гордо и свободно –
Пауков окрест не видно,
Комаров, однако, тоже,
Реет, золотистым брюхом
Отражая луч заката,
То ли дальнюю зарницу, –
Предваренье непогоды,
Но пока спокойно море,
Над которым реет муха –
И никто её не слышит:
То ли молча Муха реет,
То ли тучи тугоухи,
То ли воды поглощают
Одинокое жужжанье.
Что-то с Мухой после будет? –
К сожаленью, неизвестно,
Ибо реет там, откуда
Берегов совсем не видно...
Видимо, летать рождённым
Надо бы учиться плавать...

Ну и так далее...

...Кстати, о «рождённом ползать». Ну что поделаешь с этим натуралистом! Хоть про гусеницу вспомнил бы, что ли...

Перечитывая Пушкина...

Придворный Золотой Петушок, если разобраться, – не совсем «петушок». Этот выходец из фольклорно-мифологического Птичьего Двора – литературный гибрид. От одного из гусей, что «Рим спасли», – и «жареного петуха» с золотистой («золотой») корочкой, который клюёт – известно, когда, куда и как...

И –

ЗАМЕТКИ К ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ

Снаряжаясь в дальний путь,
где шеломом зачерпнуть
и попить воды хотел,
князь, к несчастью, не имел
Золотого Петушка –
полк его наверняка
мог бы там костями не лечь...
Впрочем, не об этом речь.
Вот у греков, например,
был такой поэт Гомер;
а для римлян страсти пыл
воспевать – Овидий был;
был тосканский вариант –
гвельф и стихотворец Дант;
во французской во земле
был Вийон и был Рабле;
и на весь британский мир
Мильтон был и был Шекспир.
А у нас полтыщи лет
ничего другого нет,
кроме «Слова о полку».
Вот и всё ку-ка-ре-ку.

И ещё.

* * *

Опять петух прокукарекал.
Опять с утра не рассвело.
И опостылело зело
круженье мировых молекул
сквозь закопчённое стекло...

Передышка при чтении «Книги прощания» Юрия Олеши.

* * *

Когда воздастся каждому по вере,
Окажется, что попросту сыграли
Историю от Яго до Сальери
С несчастным Кавалеровым в финале.

Пауза в работе. Взгляд в окно.

* * *

Ах, как мне жаль сегодня было
не показать тебе закат!..
Густое солнце влажно плыло
сквозь оперяющийся сад.
И самолёт в картину ту
привнёс белесую черту...

То же самое. Только ранней весной.

* * *

...Зима сюда решила всё же заглянуть,
когда не в январе, то на исходе марта.
И в снегопаде нет ни страсти, ни азарта,
как быть или не быть, как умереть-уснуть...

И ещё, опять же, о погоде.

* * *

Неслась вода, и и пахло гарью
высот смешенье и глубин.
Он был такую редкой тварью,
что на Ковчег пришёл один.

...Довольно долго готовил для университетского интернет-журнала «Toronto Slavic Quarterly» публикацию «Стихи филологов». И – для себя – подвёл итог.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНСЫ

События всегда чреватые
Лишь тем, что слух о них пройдёт
По всей Руси (конец цитаты),
То недалёт, то перелёт...
И в дебрях дымовой завесы,
Оставшись как бы не у дел,
Бетон кровавого замеса
Неутомимо затвердел.

Какие образы и виды
Склубятся там на этот раз? –
Когда от Перми до Тавриды
И днём, и ночью (перифраз),
Покинув отчие руины
И ностальгический туман,
Бежали робкие грузины
В Баварию (enjambement),
Где по-вороньи современно
Гнездо, в котором сплетены
Ошмётки полиэтилена
И прутья милой старины,
И мнится, что одни лишь птицы
Снуют и свишут без помех.
И хочется отгородиться
Ото всего и ото всех –
Тогда отчаянно и робко,
И неосмысленно спеша
Нашариваешь в лифте кнопку
Несуществующего этажа...

...Просидел за столом чуть ли не целый день. И ничего не
высидел. Бывают и такие дни.

* * *

Был день как день... Бумажки разбирая,
где никчемушна каждая вторая,
я замысел выстраивал с трудом –
наперекор невнятиц наслоенью,
пускай не обликом, хотя бы тенью,
дабы на лето угнездиться в нём...
Однако, поддаваться не желая,

он средь собачьего терялся лай,
который доносился со двора,
а может быть, мне подавали знаки
день напролёт гуляющие собаки:
сегодня, дескать, не твоя пора...
Но, впрочем, не скажу, чего не знаю,
и стану дальше маяться по маю,
таким же точно дням теряя счёт,
как то и подобает не-герою,
безвыигрышную томясь игрою,
где солнце светит и ручей течёт...

...А если вместо бесплодного такого сидения отправиться гу-
лять, то может – вдруг – получиться и такое...

* * *

Подобен мой дневной маршрут
Крутому выражу.
Под вечер на немногочюд-
ной улице сажу,
Слежу лениво, как, скользя
Прядётся жизни нить.
Вот только жалко, что нельзя
Собаке позвонить.

И ещё немного. Из того, что «на полях».

ИЗ НЕНАПИСАННОГО

Сказка о стрелочнике, который во всём виноват.
«...Ничего не сказал стрелочник. Только стрелку перевёл.
И покатилося колесо истории по особому пути...»

Сказка.

В конце концов Золушка вышла за Принца. И тут обнаружилось, что у него – дочка от первого брака...

Новелла-притча «Третья рыба».

О рыбе, которая тоже хотела участвовать в кормлении алчущих. Но ей объяснили, что *для чуда* хватит и двух.

ИЗ НЕМНОГОСТИШИЙ

На манер Николая Олейникова.

В четверг или в среду
Имейте в виду:
Приеду к обеду
И въеду в еду!

Памяти Евгения Шварца.

Дракон – в законе.
Закон – в драконе.

Памяти Ренаты Мухи

Во дворце живут микробы
Чистой королевской пробы.

* * *

Повторы истории вещи –
И напоминают века мне:

Есть время разбрасывать камни –
И время складывать вещи...

* * *

А голова кружиться перестала,
поскольку ей не светит пьедестала.

* * *

Всякого правленья существо
суть закономерности его.

* * *

Сколько волка ни корми –
он не станет жить с людьми.

* * *

...когда Пегас впрягается в телегу...

«Вы слишком серьёзны, господа! Улыбайтесь!» – говорит Мюнхгаузен в фильме Марка Захарова и Григория Горина.

Хотя, разумеется, знаю – встречал – и тех, для кого соблазнительнее совсем иной поэтический путь в бессмертие. Например, такой: Федор Студит «трехмерными и чистыми стихами исчислил все ереси и подверг их проклятию». И был причислен к лику святых.

СЛУШАЯ БОРИСА ХАЗАНОВА

Мозаика впечатлений

Отчего отдельные тексты, впечатляя нас своей глубиной и даже мастерством, не «звучат»?

Допускаю, что это лишь моё сугубо индивидуальное читательское восприятие. И всё же нельзя не согласиться, что, встречаясь порой с подобной прозой, обладающей несомненными достоинствами, скажем – ясностью изложения, логикой, содержательностью, информативностью, определённой серьёзностью или тематической актуальностью, – читатель не в состоянии отличить текст от хаотичных свойств обиходной речи, пульсирующей вокруг и оставляющей нас по большей части равнодушными.

Разумеется, мы отдаём себе отчёт, что где-то рядом, на уровне стихийной обыденности, в которой каждый старается переиначивать речевой поток на свой манер, происходит постоянный процесс взаимообщения.

Произнесённые слова сопровождаются жестами, однако сила их воздействия почти не выходит за рамки речевых клише. Они сливаются с общим шумовым потоком, лишённым выразительности, а потому и смысла, и нам не остаётся ничего другого, как игнорировать их, пропуская услышанную речь или прочитанный текст – по касательной – мимо ушей.

Универсальная формула восприятия (*прислушаться-слушать-услышать*) в данном случае не срабатывает.

Звучащий архипелаг литературных текстов Бориса Хазанова мистически загадочен. Он продуваем колючими рваными ритмами не только нашего времени, но и живительным пульсом культурных прозрений других эпох. И всё органично переплетается в его словесной полифонии, его строгих и одновременно нежных фугах разума и гармонии.

Прочитан ли он? Оценён? Критиками, интеллектуалами. Однако, далеко не в полной мере. И не по всем параметрам. Превагирует событийно-биографический принцип. Вероятно, время для полноценного осмысления ещё не настало.

Не претендуя на эту роль, мне хотелось бы в этих спонтанных заметках поразмышлять о «звучащих слагаемых» его текстов. И в очерченных рамках задаться сакраментальным вопросом: в чём феномен звучания прозы Бориса Хазанова?

Ещё в далёкие советские времена в журнале «Химия и жизнь» стали появляться статьи и эссе некоего Геннадия Файбусовича. Вскоре это издание обрело чрезвычайную популярность в среде читающей интеллигенции. Уверен, что не в последнюю очередь заслуга в этом принадлежала новому литературному редактору и автору журнала Геннадию Файбусовичу, рассказывавшему об учёных в завораживавшей манере уважительности к читателям. Не упрощая и не подмигивая. А вовлекая в контекст серьёзной научной проблематики как части цивилизационно-культурного процесса.

Спустя годы, очутившись в Мюнхене, я решил посетить журнал «Страна и мир», которым зачитывался на переломе перестроечных лет. Дверь открыл мужчина небольшого роста и с радужной гостеприимностью, ставя ноги осторожно на носки,

прошёл меня по коридорам и комнатам редакции. Негромким приветливым голосом он представлял меня каждому сотруднику как важного гостя: «Семён совсем недавно из России, интересно рассказывает». А потом усадил за стол, угостил чаем и стал задавать вопросы. Естественно и без экзальтации. Благородный овал лица. Внимательный, пытливый взгляд. При обдумывании зрачки иногда высветлялись до исчезновения. Говорил неспешно, с отстранёнными альтернативными интонациями в голосе. Пару раз вдруг, словно юродивый, хихикнул, булькающий смешок, лицо съёжилось, только огоньки из глаз засверкали. В конце нашей беседы редактор Борис Хазанов, а это оказался собственной персоной именно он, подвёл меня к книжным полкам и подарил несколько книг и свежих журнальных номеров.

Одна из них стала моей настольной книгой – «Идущий по воде». Так же как и многие другие книги нашего выдающегося современника, глубокого мыслителя, философа, но прежде всего непревзойдённого художника и стилиста Бориса Хазанова. Писателя, которого узнаёшь с первых строчек: *«Бывают навязчивые сны, образы, преследующие ночью и днём, какая-нибудь мелодия, которая сама собой начинает звучать, стоит только пропеть мысленно первую квинту...»*

Так и хочется продолжить – стоит только мысленно повторить пару строчек Хазанова... и ты уже в плену магического воздействия этой то ли словесной, то ли музыкальной литургии.

Поначалу трудно было соединить в сознании легендарного могиканина, автора «Часа Короля», «Третьего времени», «Я воскресенье и жизнь», «Хроники о Картафиле» и других вершин современной русской литературы с Геннадием Моисеевичем Файбусовичем, скромным, не пафосным и задушевым человеком, с которым судьба вот уже тридцать лет дарит мне радость личного общения.

Перечислю некоторые встречи. Соучастие рядом с ним в праздновании столетнего юбилея Тютчева, в различных фестивалях, его творческих вечерах, в публичных презентациях журнала «Доминанта» и празднованиях по случаю вручения ему Премии «Доминанта», на различных концертах классической музыки, ну и, конечно, доверительные беседы у него дома, у общих друзей, при прогулках ...

Из общения с Мастером произвольно извлекались уроки. Например, что...

...истинная система взаимоотношений та, которая не преследует практические цели и установление непререкаемого порядка.

...глубокий смысл почти всегда многозначен и потому его можно и должно по-разному интерпретировать.

...событийные открытия в языке связаны с Платоновским пониманием внутреннего диалога души с самим собой.

...лишает нас дара речи не только то обстоятельство, когда у нас не хватает слов, а внезапно возникшая потребность завоевания паузы.

...настойчивость в привязанности к собственному мнению в диалоге вряд ли приведёт даже к непрочному согласию.

...манерам учиться можно, но в конечном счёте они всё равно будут соответствовать внутренним ограничениям.

...наброски свидетельствуют не о готовности приблизиться к образу, а всего лишь о зарождении неясного импульса.

...отказ от познания принципа последовательности не может не вести к коллапсу взаимосвязанности.

...идея абсолютного порядка иллюзия. Так же, как создание нормы на все случаи жизни. Или измерение канонов прекрасного и универсальных рецептов по его созданию.

...всякое подлинное подражание есть произвольно изменённое присвоение.

Когда мы с моим другом и со-ведущим Вадимом Перельму-тером готовились к 90-летнему юбилею Геннадия Моисеевича, то, почти не сговариваясь, оба пришли к идее проведения вечера без громких хвалебных речей, чтобы все желавшие попривет-ствовать юбиляра, прочли любимый ими отрывок из произведе-ний Хазанова. Вот уж воистину в тот вечер солисты оркестра его поклонников озвучили невероятно разноплановый в жанровом отношении (помимо сольных прочтений, были представлены на видео театральные версии, поэтические и музыкальные посвя-щения, диалоги...) марафон живого классика.

Тексты Бориса Хазанова сразу же поражают не только бо-гатством и прозрачностью звуковых комбинаций, но и застав-ляют невольно вслушиваться и погружаться в детали его прозы. Несмотря на непостоянство и разнообразие жанров, тонально-стей высказывания, сочетания случайностей и крайностей, наше ухо различает естественность гармонии словесной ткани. Хаза-новские мотивы, фразы, предложения, абзацы и целые страницы разворачиваются по каким-то незаметным, но незыблемым зако-нам звуковой и ритмической согласованности.

Казалось бы, нет ни ладов, ни указаний метронома и наш ав-тор, как и прочие литераторы, опирается на общее для всех огра-ниченное подспорье: словесную ткань и молодую – для языка, – чуть более чем двухсотлетнюю гибкость русской грамматики. Однако в его прозе явственно слышны акценты и паузы, тональ-ность и модуляции, знаки препинания и абзацные пробелы, хрупкие вопросы и редкие восклицания, последовательности синтаксических особенностей и монтажные сбивки, клипы и ре-призы...

Кстати, слушать, это не всегда – слышать, и не гарантия – понимать смысл услышанного Приведённые выше соображения

не содержат, впрочем, моральных поучений и не призывают читателя к безоговорочным суждениям. Просто прислушаемся к нескольким произвольно взятым отрывкам прозы писателя:

...Галогенид серебра одел наивно и нагло обнаженное тело в лунную чешую, превратил вещественность того, что должно было сделать фотографию порнографическим «объектом», в призрачную игру форм и теней, словно девочку укрыло ангельское крыло или словно это был снимок, запечатлевший галлюцинацию. Это тело не хочет «говорить», другими словами, не соблазняет, не влечет к себе, но погружает вас в потустороннюю вечность фотографии; перед вами видение, не ставшее действительностью. Выставленный живот с выпуклой дельтой, вертикальные запечатанные уста, зов вздувшихся околососковых кружков и заломленных рук – зов смолкающий, на который запрещено отвечать. Тени реберных дуг над животом индийской танцовщицы, ямка, оставленная Божьим перстом, чтобы опустить в него зернышко: еще несколько щелчков фотокамеры, немного терпения! Из него поднимется стебель лотоса.

«Нагльфар в океане времён»

...Будущее – коварный враг, и с ним опасно вступать в переговоры: заманит к себе на пир, да и выколет глаза. Но что мы знаем твердо, так это то, что мы пришли после катастрофы. Следствием этой ситуации является умонастроение, отчасти напоминающее умонастроение авторов »Вех«, но в целом неслышанное для русской интеллигенции. Не потому, что ей были чужды эсхатологические предчувствия: напротив, они были ей чрезвычайно близки; но потому, что, предчувствуя и видя близящийся конец, она утешалась неистребимой верой в «почву». А мы

блуждаем среди развалин, перешагиваем через повалившиеся колонны. Раздвигаем бурьян и читаем: Народ... Россия...»

«Идущий по воде»

...«Старость, молодость – какая разница... Мы уже рождаемся стариками. В возрасте, когда наши сверстники сидят на горшке, мы размышляем. Это оттого, что мы очень старый народ. Похоже, что мы зажились на этом свете...»

«Мы живём в истории, как другие живут в реальной действительности, мы шагаем спиной. вперёд, лицом к далёкому прошлому, к ханаанским предкам. Всё, что для других – будущее, мы уже пережили».

Голоса сотрясают пузырь молчания, но это не голоса живых. Незаметно для нас самих наступает двойное отчуждение от внешнего мира и от собственного измочаленного тела. Не только мир, но и собственную плоть начинаешь ощущать как нечто внешнее по отношению к тому, чем ты, собственно говоря, являешься. Тогда оказывается, что это «я», наша личность – всецело соткана из памяти.

«Старики»

...Другой, чей шёпот шелестит в мозгу, Другой, напоминающий Тёмного двойника – амплуа из театра масок глубинной психологии Юнга, – не я, Другой! Тот, кто воплощает всё пошлое и ненавистное, постыдный низ, потёмки души; кто, как некий посторонний, присутствует в тягостных снах. Это он несёт с собой анархию, безнравственность, хаос. Между тем как Я – стою на страже морали, разума и порядка, Я сам – логика и порядок. Я – мужчина. Он – моя вина и погибель.

«Вейнингер и его двойник»

...Дорогая, будем говорить о городе. Значит ли это (по крайней мере, такая мысль может у вас мелькнуть), что я хочу говорить о вас? Города женственны, записал однажды Эрнст Юнгер, и благосклонны к победителю. (Это напоминает фразу Наполеона: «Город, занятый неприятелем, подобен барышне, потерявшей невинность.») В другом месте автор «Второго парижского дневника» называет воздушный налёт на город смертельным оплодотворением. Слово «город» в нашем языке мужского рода, это мешает отождествить город с распротёртой женщиной, но бомбардировки я вспомнил не зря ... Город затягивает, засасывает. В городе надо учиться не умению находить дорогу, а умению заблудиться, говорит Беньямин. И добавляет: «Я поздно научился этому искусству». Город огромен, неисследим.

«Город и сны»

...А колеса вращаются, повинясь кружению земли, а веселый человек шепчет в черном картоне, а солнце косо освещает розовый брендмауер, встает над кирпичным домом, и плакат на углу сморщился, отчего штык, похожий на кухонный нож, переломился надвое, и на улице! У подъезда стоят кучкой люди.

Веселый, бессмертный человек, он поет во все горло в окне кирпичного дома напротив, уже совсем тепло, и женщина с голыми ногами моет раму. Он живет всюду, говорит со всеми, неунывающий человек-горло, и ведь правда – до чего замечательно все на свете! Как прекрасна жизнь! Но никто не радуется.

«Я Воскресение и жизнь»

...Взобравшись на гору, гость, прибывший на отдых, нашел, что островок в самом деле имеет форму клыка, хотя его можно сравнить и с морским животным, например креветкой. Пожалуй, ближе всего остров напоминал человеческое тело, свернувшуюся

ся калачиком женщину. Но это наблюдение было сделано позже. А пока что курортник трясся в старом джипе с начертанным на дверце названием гостиницы, рядом со смуглым водителем. Ехали среди зарослей злака, похожего на кукурузу. «Sikr (сахар)», – сказал шофер по-креольски; пассажир, успевший в дороге приобрести с помощью туристических брошюр кое-какие познания в этом языке, догадался, что это сахарный тростник.

Затем снова показалась бухта, несколько времени экипаж тащился под сенью могучих кокосовых пальм вдоль пустынного, уходящего к горизонту пляжа. Не доехав до рыбацкой деревни, свернули в пальмовый лес. Мотор ревел, шофер бодро крутил баранку, извилистая дорога, усеянная твердыми, как камень, комьями красной земли, круто шла вверх, над верхушками деревьев на бледно-голубом небе рисовались туманные горы. Это сейчас, думал курортник, глина затвердела, а что будет, когда пойдут дожди? Что-то приторно-сладкое, вялое и мечтательное, запах цветов или самой земли, витало в воздухе. Этим пока и ограничивалась экзотика, но в конце концов всякая экзотика – вещь обоюдная. Он сам был экзотическим пришельцем на острове.

«Корсар»

...Я вспомнил, что сегодня как раз этот день, если только числа и дни окончательно не перепутались в моей голове, годовщина запоздалого переселения. Восстав в моей памяти, он отказывался вернуться в прошлое, как если бы самом деле все совершалось одновременно или если бы русло времени искривилось и обогнуло войну, или если бы, очутившись в том времени, я увидел будущее во сне. Тут было все, что бывает в классическом сновидении: переправа, дорога, уединенная усадьба; я не верил глазам – лужайка, терраса, деревянная башенка, перед домом веревочный гамак на двух крюках, ввинченных в деревья,

казались мне плагиатом моего младенчества; я подумал, что сам становлюсь действующим лицом чьей-то памяти или чьего-то сна: не я грезил, меня грезили.

«Далёкое зрелище лесов»

...Свобода – это всего лишь вера в то, что свободен. ...Эта книга порождена отчаянием.

«Идущий по воде»

...Бахtareву казалось, что часы следят за его движениями. Продавленный диван ждал, когда на него возлягут. Вещи зажили вновь своей особенной жизнью... Странно, что нас могут мучительно занимать мысли о мыслях, подобно тому как можно видеть сны о снах.

«Нагльфар в океане времён»

Хазанов обладает собственной временной структурой, неподвластной, впрочем, никакой преднамеренной фиксации, конструирования и измерения темпа и ритма. Думаю, что он полагается только на внутренний слух, которым безукоризненно владеет и который позволяет совершаться этой естественной и созидательной работе. Тогда и возникает хазановское чудо – звучащий язык, как усилие отдельной личности, созидающей из обиходного словесного хаоса индивидуальную гармонию художественного порядка. Это не имеет, между тем, ничего общего с стремлением создания некоей универсальной системы, подчинённой искусственным предписаниям нарратива включающих мыслей и, соответственно, гармонических построений. В независимости от жанра.

ФРАГМЕНТЫ ДИАЛОГОВ С БОРИСОМ ХАЗАНОВЫМ

С. Г. Не кажется ли вам, что литератор, живя в стихии памяти, постоянно пытается её осмыслить путём запечатления в некоей форме, что по существу есть не что иное как желание от неё избавиться и примириться с призрачным настоящим, которое на поверку само сиюминутно смешивается с этим мало управляемым потоком.

Б. Х. Надо отличать память и воспоминание. Воспоминание выстраивается по принципу литературного произведения. Конструируется. И досочиняется, обретая несуществовавшую в реальности новую форму. Но эта «неправда» возможно более правдива, так как обретает художественность.

Память хаотична. В ней никакой логики. И потому она более правдива как сама жизнь. Она не художественна. И тебе неподвластна. Вне причины и всякой связи. Вне времени.

Как же Вы с ней обходитесь?

Думал вначале, что этот жизненный хаос, эту необъяснимость жизненных волн и случайностей, которые бросают человека туда-сюда, художник может и даже должен своей творческой волей упорядочить. Придать некую гармонию. И потом, двигаясь в неодолимом желании к так называемому совершенству, к мнимому обузданию хаоса на страницах рукописей, вдруг понимаешь, что совершенство не просто недостижимо, но и придаёт произведению неподвижную музейность. Самозабвенное упоение мастерством. Когда краски или приёмы, обороты, комбинации засахариваются.

Мне кажется срединность жизненного пространства, к которой мы неосознанно стремимся, лишена точки опоры, она бесформенна. И лишена оценочного взгляда со стороны.

Он появляется позже. Как и выразительный блеск пережитого. Он-то и заслоняет, уничтожает матовость, срединность жизненного пространства, в которой мы и существуем (жизнь есть сама середина) и к которой мы, как Вы правильно заметили, и стремимся неосознанно. Хотя мечтаем о празднествах, бесконечности, покаях и покое...

Прочитанная книга по сути тоже срединна, ведь она уже прочитана. И если сохраняется ощущение жизненной правды...

К книге можно возвращаться и взаимоотношение с ней почти всякий раз меняется. Когда говорят о правде жизни в литературе, я бы относился к этому с некоторой осторожностью. Вы знаете, я много думал в последнее время о Пастернаке и «Докторе Живаго» и теперь склонен считать, что роман всё же скорее хороший, нежели плохой.

Гипотетический вопрос: мешает ли писателю эрудиция? Мне кажется, музыканту-исполнителю порой она даже мешает. Истинный талант может затаённую глубину эпизода передать или прожить на сцене с интуитивной непосредственностью. Но прозаик, он всё же апеллирует словесными понятиями, возможно ли доверяться только интуиции? Иногда возникает невероятный диссонанс (как в случае с Фридрихом Горенштейном) между интересными текстами писателя и его косноязычностью и некоторой прямолинейностью высказываний в жизни.

Памятуя тыняновское определение «Архаисты и Новаторы», я всё же, конечно, архаист. Было время, когда я врачевал в своей деревне и пытался всё изменить, так сказать, в литературе, занимался бессмысленной перестановкой слов, чтобы освободиться от привычной последовательности слов в предложении. «Да – сказал он». «Нет – сказала она». Это к вопросу «Правила и схематизм».

Что касается Горенштейна, отношусь к его творчеству серьёзно и с симпатией. Всё же он, я согласен, пусть и не достаточно образованный и в чём-то озлобленный на весь свет, но с тех пор, как его стали печатать, он подобрел и в высказываниях, и в манерах. Стал округлый. Особенно к немцам. «Бердичев» несомненно выдающееся произведение. Знаете, режиссёр Марк Розовский (я присутствовал на чтении) не смог дочитать до конца и расплакался.

Показатель ли это? Максим Горький, как рассказывают его современники, плакал на каждой «лирической жилетке». Можно прослезиться и от простой житейской истории, от народной сказки.

Я имею в виду художественное впечатление. Скажем, от волшебства немецких сказок и легенд. Или от ослепительной красоты музыки Вагнера.

Это не мой композитор и, самое главное, личность.

Но Вагнер – это музыка. Несмотря на его антисемитизм и свидетельства его невыносимого, даже подлого характера. Я как-то ввязался в одну дискуссию в журнале «Слово» по поводу Вагнера.

Вы помните об известном противостоянии Вагнера и Брамса? Думаю, что окажись я в то время там, то без колебаний примкнул бы к Брамсистам.

Брамс для меня – это удаляющийся остров юности.

Мне кажется дело не в совпадении, а в жизненной позиции некоего озлобления и, несмотря на, так сказать, высокие цели, искажённость образного мира. Видите ли, у того же Брамса или Бетховена тоже были непростые характеры и судьбы даже более трудные.

Полагаю, у Бетховена была болезнь. Ему надо было выпускать кровь. Я это как врач делал пациентам множество раз.

Но облегчилась бы от этого невероятное творческое наполнение его существования? Его напряжённые поиски смысла жизни и будущего?

Вы знаете, футурологи единственно что доказали, что будущее предсказать невозможно. А жизнь всё же бессмысленна, раз всё заканчивается смертью. Нам остаётся наслаждаться вздохами в концерте Скрябина, или страстностью душевных порывов в Фантазии Шумана опус 17. Вы мне как-то говорили, что в конце второй части Фантазии все пианисты в скачках промахиваются. Я теперь слушаю и переживаю за исполнителей, чтобы они не промахнулись.

Вы встречались в жизни с выдающимися людьми. Записываете ли свои впечатления от этих встреч?

О ком-то писать? Портреты? Немного делал, но не хватало может быть отваги высказываться о людях. Вероятно, это не

моё. Я не состоял в литературных тусовках, вообще не считал себя и не был советским писателем. Всё решает часто случай. С Беном Сарновым меня случайно познакомил Борис Володин. Как-то мы с Беном случайно попали на панихиду Твардовского, и одна из организаторов буквально втащила меня в почётный караул у гроба поэта. Не хватало просто людей. Цепочку случайностей описывать неинтересно.

Вот с кем ты даже знаком не был, это интереснее. Только на основании произведений. Как произошло у меня с Бруно Шульцем. Так Камю в образе графомана в романе «Чума», возможно, изобразил Флобера.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Размышляя о большом писателе, мы обречены довольствоваться вопросами без ответов.

Предметом удивления была и остаётся для меня в Хазанове интенсивность его самовыражения, сочетавшего вроде в себе основные достоинства характера и ума.

Как ему удавалось не страдать ни тщеславием, ни завистью, ни любовью к эффектам?

Его научные изыскания и многолетняя врачебная практика были фактами случайными или они вытекали из его мировоззрения?

По каким законам некоторые его фразы застывают как витражи? И ни прибавить, ни убавить...

Что является главным и основным средством познания для Хазанова?

Не являются ли его жизнь и творчество поиском решения соразмерности бытия? Или, иначе говоря, протекает под знаком одной проблемы – проблемы пропорциональности?

Семен Гурарий

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

ВНИМАЯ ЗВУКАМ

Дочери

Внимая звукам – это значит
отдышкой прозы обозначить
февральских жалоб маету.

Внимая звукам – сладостную муку
в наследство от Бетховена принять
и раствориться в шумановских грёзах.

Внимая звукам – это не раззять
жизнь на годá, созвучия на звуки,
теперь-тогда-тогда-теперь...

Внимая звукам...

Март 1986
Куйбышев (Самара)

ЛЕС

Нюансы зелени –
двуличный гул
затей игривых проржавевших спален,
капкан сочувствия,
где в сотах горьких грусть грызя,
топорщатся глухие деревья.

Нюансы зелени –
затишье междометий,
среди среды средневековой
список спин,
ровесников моих-твоих, готовых-не-готовых
совпасть с наивностью обложки
под названьем *л е с*.

Нюансы зелени –
рукоплеканий рынок,
где ходкий хмель, стыдясь и суровея,
остывшее безумное брожение бранит,
что тщетно двигалось,
казалось бы вперёд,
лгало себе, себя и предавало,
и оглянуться не успело,
как зельем зелени
опутано, опьянено навек,
оставив в назиданье нам
безмолвье, неподвижность
и нюансы.

15 августа 1994
Bad Nauheim

* * *

бессмыслица
какая благодать
остыть
отстать и заблудиться
в предместье предков
им под стать
кивку кикиморы не удивиться
и ненароком нелады все позабыть
а там
затишья затрапезного затылок
крахмальным крохобором
норовит зануть
ленивые секунды
ускользающим обмылком не исчезают
кружатся
юлят
и вот уж тени
двигаются вспять
шепча
но повторять мне не велят
бессмыслица
какая благодать

28 февраля 1996
München

DIE SPRACHE

Уставшая царапина-царевна,
усвоив правило не врать,
всё слушает и слушает, как древняя
ворочается и клокочет рать:
в туманном бархате неведенья,
слова, словечки, словеса,
подслеповатым хором ведьминым
наощупь примеряют голоса...

В пути к балладам, сказкам-деревам,
к замшелой, зарифмованной реке,
непоправима, неправа, права,
иссохшая гортань в пустынном языке...

Ещё в корнях и суффиксах плутая,
плебейская родня уже кичливо восстаёт,
что здесь темно, а там светает,
что Ариосто только Мандельштама признаёт...

А далее законы, тупиковые проспекты,
источники, каналы, города,
разводы, браки, храмы, секты,
свои, свои, чужие – вот тогда
всё началось и продолжалось,
дыхание, тюрьма, полёт,
и звуки марша, презируя жалость,
царапают тысячелетиями лёд.

31 мая 1996
Lido di Jesolo

СЕРЕДИНА

Среда, свояченица, середина:
в сезон оврагов, пены и прыжков,
брюнетную главу о переходах вброд,
самосожжениях, лохмотьях непогоды – годы
её никто не хочет ни во сне, ни даже в мыслях начинать...

Среда, луг славы, середина:
под бронзовые вывихи контральто
слепой кордебалет сентябрьских пружин
танцует *alla breve* от четверга назад – ко вторнику...

Среди плевков солдатских, и Маноновых вуалей,
на слух, слегка фальшивя, скорей левее, чем правее,
бродяга-бубен вторит второпях про вторник, не про среду...
Среда без края, сплошная середина:
седой ломоть переполоха спит, контужены глаголы...

Среда среды, срез середины:
слюнявая овца-пловчиха, птенец,

переперчёная корона...

14 декабря 1997
München

ПОДРАЖАНИЕ

Гамак славянский – вафельное слово
о воспоминаньях, славе, слабостях, слезах.
Слалом пословиц – формула портного
одышкой с прошлым расплатиться впопыхах:

...пустое грязное купе, батон и чай,
в окне перронная толпа, жара и лес,
слободские девичьи взгляды невзначай –
провинциальный город Мелекес...

поезд отправился в раскачку, не спеша,
и форменные пуговицы блестели в духоте,
отнюдь не юбками, не кринолинами шурша,
железнодорожники любились в темноте...

Галантна тень – сиропный лепет
лениво лаву пробует из спячки пробудить.
Из стужи в целовальный трепет
ханжа ханжу завлѣк, чтоб всё про всё забыть.

18 ноября 1999
München

ИОСИФ

История игры исчезновенья
облака: осенняя обида
соблазнена спасительной сиреной
избавленья – испарина испуга
фальцетом форсмажорным фальшивеет.

Истоки искр и... извиненья
одиночества: ослепшее окно
суровым суеверным слогом
истово исправляет искривленья
фатаморганистых фаготовых фигур.

Иск истине и... искаженье
облика: один он, он отец, он
сын, сыновний судорожный скепсис
изменчив – истец истратился, иссякла
формула: ферзьфавнфакирфантом ...

7 сентября 2002
Rimini

о до и после, и во время ... Лишь видеть,
слушать и не прощаться,
и среди теней блуждая, принимать потоки Лёты
за берега Казанки ...

И от стыда в ответ изнемогать за небылицы
горизонта об узнавании
улыбок, о скудоумных рефренах гороскопа,
о земных страстях,
погонях за невидимым успехом,
о мизерных триумфах, ликованиях,
приметах благоденствия, семейных неурядицах,
разводах и властях ...

На пейзажи родства, что в руинах стоят,
опускаются снежные белые хлопья,
и плывут в никуда, всепрощеньем маня,
друг за другом безмолвья надгробья.
Смотрим вслед и не видим, не слышим теней,
лишь ритмично пульсируют кóпья,
что летят в небеса, заставляя наш взгляд вверх смотреть
– исподволь исподлòбья

17 декабря 2018
Мюнхен

ВРЕМЯ И МЕСТО БОРИСА ХАЗАНОВА

Борис Хазанов – человек не шумный. В советские годы свои локтями не пробивался, в эмиграции великого борца против советской власти не строил, в постперестроечное время по писательским тусовкам не бегал, в очередях за литературными премиями не стоял. Оттого и имя его, и книги его известны современникам далеко не в той мере, в какой того заслуживают. С другой стороны, ещё в ранней юности встал будущий писатель Борис Хазанов на зыбкую, едва осязаемую стезю высокой культуры и выбору своему, несмотря на все испытания и соблазны, не изменял. Тем и обеспечил себе место под сводами Литературы после того, как иные, шумные, крыльями отмахнут и уйдут в никуда.

Героним Файбусович родился в 1928 году в Ленинграде, но он – москвич, ибо в первопрестольной живёт с двухлетнего возраста, знает, помнит и, подозреваю – любит довоенную Москву по-европейски размашистую, по-российски убогую, по-купечески пышную, по-советски помпезную. И если спустя полвека Борис Хазанов поселит своих героев в некоем загадочном городе и будет водить их по его улочкам, дворам и подворотням, то всё это отнюдь не плод воображения писателя-фантаста. Это «далёкое видение» города юности, извлечённое из цепкой памяти московского мальчишки, преломленное сквозь призму десятков го-

родов мира и изложенное на бумаге писателем-эмигрантом: романистом, эссеистом, публицистом, критиком и рассказчиком.

Но всё это будет потом, а пока что началась война – страшное время. Немецкие мотоциклисты въезжают на Волоколамское шоссе, а тринадцатилетний Геня Файбусович отправляется с матерью в эвакуацию, в Татарстан. Там, в селе Красный Бор, что на Каме, провёл он свое отрочество. Провёл в сельской школе, аттестат которой, по сути, весил ничуть не меньше того, который выдавали в элитных московских школах. Провёл в библиотеке, откуда по недосмотру – глухая провинция! – не были изъяты многие книги, которые советская цензура давно уже вычеркнула из списка существующих. Провёл в общении с татарскими и русскими мальчишками и девчонками, с их матерями-солдатками, с учителями – евреями, эвакуированными из Литвы и Латвии.

Пройдёт много лет, и Бориса Хазанова назовут русофобом, плюралистом-западником, понятия не имеющим о русском народе и русской жизни.

Первое понятие о внесмоковской России он получил в Татарии. Первое, но не последнее. В 1944 году Файбусович возвратился в Москву, а осенью следующего года поступил на филологический факультет Московского университета по отделению классической филологии. Уголок прямо скажем заповедный. Там ещё сохранились профессора «из бывших», там ещё были живы традиции русской дореволюционной школы, там изучали латынь и греческий, знакомили с Сократом и Платоном, с Вергилием и Сенекой, с Лессингом и Шиллером, с французскими сентименталистами, веймарскими классицистами, со всем тем, что и составляет фундамент мировой культуры и литературы. Отсюда, думаю, и пошло трепетное отношение к культуре подлинной. Отсюда – презрение к эклектике, подделкам, массовой советской дешёвке, а позже – к постперестроечной чернухе, порнухе и «женскому» литературному шебе-

танию. По признанию самого Хазанова, он вообще не читал хитов советской литературы. Зато, оказавшись в эмиграции в Германии, он не испытал культурного шока. Переулок Шпенглера, улица Бруггера, проспект Фихте: прогуливаясь по улицам и переулкам Мюнхена, он узнавал имена философов, историков, писателей, которых читал, изучал, любил с юности. Понятно, чужим не был ему и язык этой страны.

Конечно, классическое отделение Московского университета было уголком заповедным, но не свободным от шупальцев НКВД. И когда студент Файбусович, стремящийся, как и положено в его возрасте, опровергнуть все авторитеты на свете, решил выпустить собственный рукописный журнал, стукач тут же донес об этом «куда надо». Арест, следственная тюрьма «Бутырки», статья 58-10/1 и восемь лет лагерей не заставили себя ждать. Так в 1949 году советские органы безопасности позаботились о том, чтобы будущий писатель на собственном опыте познал очень важную – лагерную – сторону российской жизни. Познавал он её на лесоповале в Унжинском исправительно-трудовом лагере вплоть до 1955 года, когда был условно-досрочно освобождён без права проживать в Москве. Пройдёт более сорока лет, и история юношеской дружбы, предательства, а после и попытки мщения бывшему стукачу – разбогатевшему после перестройки новому русскому – всплывёт в рассказе «Зов родины».

А пока лишенный права жить в столице, бывший студент и бывший зэка поступает в Калининский мединститут, по окончании которого работает врачом в сельской больнице в деревне Есиновичи Калининской области. Тоже неплохая возможность познать российскую жизнь не из вторых рук!

К медицине будущий писатель относится со всей серьёзностью, оканчивает аспирантуру в Москве, защищает кандидатскую диссертацию и работает врачом в различных московских клиниках вплоть до 1974 года. Старая любовь, однако, берёт

вверх, Хазанов расстается с медициной. В семидесятых годах в интеллигентных, жадных до живого слова, кругах Москвы разносится весть: один «совершенно легальный» журнал стал печатать интересные, нестандартные вещи. Журнал этот, назывался «Химия и жизнь», а свежие, нестандартные вещи появились там стараниям нового литературного редактора Геннадия Файбусовича.

Тогда же начинается и жизнь неподцензурного московского литератора: Хазанов переводит тексты западных философов и теологов для Самиздата. Впрочем, и для легальных издательств – тоже. Перевёл Файбусович, в частности, переписку Лейбница, опубликовал большое количество статей по истории естественных наук и две книги о жизни Исаака Ньютона. Тогда же был написан первый роман писателя «Час короля», который много лет спустя (1991) был опубликован отдельной книгой в издательстве «Текст». Роман «Час короля» – легенда о том, как король Дании вышел на улицы с жёлтой звездой, чтобы поддержать своих еврейских граждан – первая попытка в советской диссидентской литературе рассказать о Холокосте.

А потом было участие в самиздатовском журнале «Евреи в СССР», откуда собственно и пошёл псевдоним «Борис Хазанов». В 1977 году за границей вышел сборник статей Хазанова, и сразу начались обыски, вызовы в КГБ, вежливые намёки «освободить помещение». В августе 1982 году Файбусович с семьёй эмигрирует в Германию, поселяется в Мюнхене и регулярно пишет эссе и литературные обозрения в немецкую прессу. Голос Хазанова звучит на «Немецкой волне», по «Свободе» и Би-Би-Си. В 1984 году он вместе с известным диссидентом Кронидом Любарским создаёт культурно-политический журнал «Страна и мир». Журнал просуществовал до 1992 года и по многим отзывам стал вершиной русской зарубежной публицистики. Работа в журнале отнимала массу сил и времени, но продвигались и литературные дела. Из под пера Хазанова выходили блестящие

эссе, публицистические статьи, литературная критика и переводы, которую он публиковал в «Стране и мире». Далее были романы «Я, Воскресение и Жизнь», «Нагельфар в океане времен», «Город и сны», «Далекое зрелище лесов». Публицистические произведения – «опыт романтической политологии», как определил их жанр сам автор, – «Миф Россия», «Допрос с пристрастием», «Миф Германия». И десятки рассказов, эссе, этюдов, критических заметок, рецензий, радиопередач. Наверно, нет в русской диаспоре ни одного солидного журнала и издательства, где бы не оставил свой след Борис Хазанов, а после перестройки крупные его вещи были напечатаны в ведущих журналах и издательствах России.

Итак, Борис Хазанов – писатель плодовитый, сумевший наверстать годы, отнятые у него «родным КГБ», сумевший перебороть тяготы и соблазны эмиграции. При всём том в современной русской литературе Хазанова куда-то затёрли, оттеснили даже не во второй ряд, а на какие-то её задворки. Почему? Да потому, наверное, что она, современная русская литература, освободившись от оков цензуры, пуританства и прочих цепей, по всей видимости, должна насытиться чернухой, порнухой, всяким литературным мусором и только тогда, перебесившись, она вернётся в берега свои, к ценностям своим и к тем немногочисленным авторам, которые устояли, не поддались, не соблазнились. Тогда и наступит время Бориса Хазанова. Как наступило оно для непонятых и отвергнутых современниками Бруно Шульца, Пауля Целана, Марселя Пруста и многих других.

Андрей Никитин-Перенский

ЭЛЕКТРОННЫЙ БОРИС ХАЗАНОВ

Вместо послесловия

Осенью 2004 года Павел Нерлер познакомил меня с Геннадием Моисеевичем. Я уже четыре года делал электронную библиотеку, но она была всё ещё небогатой. Конечно, мне хотелось публиковать не только книги авторов XVIII—XIX веков, но и тексты современников. Геннадий Моисеевич с радостью откликнулся на моё предложение публиковать его произведения в Интернете. Он вообще, как оказалось, любит всё современное, интересуется новыми возможностями. Освоил компьютер, пишет массу электронных писем, сегодня он — ежедневный пользователь Фэйсбука. Последнее время часто повторяет, что в связи со слабеющим зрением без электронной библиотеки не обходится, поскольку тексты любимых книг можно на экране увеличивать и продолжать читать, после того, как глаза перестают видеть шрифт книжный. Геннадий Моисеевич предложил мне сканировать журнал «Страна и мир», который он издавал вместе с Кронидом Любарским в Мюнхене с 1984 по 1992 год. Комплект журнала теперь доступен в сети всем желающим. Он познакомил меня с несколькими значимыми фигурами русской литературы. Без его участия и помощи библиотека была бы намного беднее. А я, в свою очередь, рад, что принёс книгам Бори-

са Хазанова несколько тысяч новых читателей и их число постоянно растёт. В библиотеках Imwerden и Вторая литература есть как книги и статьи Бориса Хазанова, так и аудио- и видеозаписи авторского чтения — очень важное дополнение к печатным источникам. Послушайте голос Геннадия Моисеевича, его неторопливую спокойную речь писателя-философа, его чистейший русский язык. Это — настоящее наслаждение.

Кроме разделов в библиотеках есть ещё и отдельный авторский сайт:

<http://boris-chasanow.imwerden.de/>

Его ведёт Владимир Шубин, руководствуясь авторской волей и желанием. А основное желание автора — сделать доступными читателю все свои труды. Всё это нисколько не отменяет публикацию книг, но существенно увеличивает круг первых читателей.

Содержание

От спонсора сборника «Борис Хазанов и мы».....	3
Борис Хазанов СМЫСЛ И ОПРАВДАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ.....	5
Борис Хазанов ПАРДЕС.....	14
Борис Хазанов СВЕТЛОЯР.....	22
Илья Мильштейн «МЫ ЖИВЕМ НА РАЗНЫХ ПЛАНЕТАХ».....	54
Илья Мильштейн ПОПЫТКА И ПЫТКА <i>Пичугину отказано</i>	69
Борис Хазанов ТОВАРИЩ С.	73
Лариса Щиголь ПТИЧКИНО ДЕЛО.....	80
Людмила Агеева ВПЛОТЬ ДО БРОДСКОГО <i>Юбилейный дневник («Лытдыбр»)</i>	98

Владимир Шубин	
ALL HEIL!	108
ПУШКИН В МЮНХЕНЕ.....	118
ПУШКИН.....	120
ЛЕРМОНТОВ.....	123
ОНЕГИН.....	125
Владимир Генин	
НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ.....	128
Владимир Генин	
ГОЛЫЙ ОСТРОВ <i>(31 июля 2021 года.</i>	
<i>Хорватский фоторепортаж)</i>	137
Ася Левина	
ДАВИД И ВИРСАВИЯ.....	145
Ирина Стекол	
ЖЕНЩИНА И СОБАКА В	
ПРЕДЛАГАЕМЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ.....	158
Ирина Стекол	
УТОЛИ МОЮ ДУШУ.....	172
Ирина Стекол	
ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА ВО ФРАНКФУРТЕ.....	182
Андрей Рево	
СТИХОТВОРЕНИЯ.....	200
Майя Беленькая	
ВО ЛЬДАХ.....	228

Наталья Генина	
ПТИЦА ПЕГАС.....	240
Вадим Перельмутер	
ИЗ МАТЕРИАЛОВ	
К БИОГРАФИИ ОДНОЙ КНИЖКИ.....	255
ПИСАТЕЛЬ КАК ЧИТАТЕЛЬ.....	259
ТРЕТИЙ ВЕК ЗАГРОБНОЙ	
ЖИЗНИ БАРОНА МЮНХАУЗЕНА.....	263
Семён Гурарий	
СЛУШАЯ БОРИСА ХАЗАНОВА	
<i>Мозаика впечатлений</i>	282
ФРАГМЕНТЫ ДИАЛОГОВ	
С БОРИСОМ ХАЗАНОВЫМ.....	292
ПОСЛЕСЛОВИЕ.....	296
Семён Гурарий	
СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ.....	297
Эйтан Финкельштейн	
ВРЕМЯ И МЕСТО БОРИСА ХАЗАНОВА.....	306
Андрей Никитин-Перенский	
ЭЛЕКТРОННЫЙ БОРИС ХАЗАНОВ	
<i>Вместо послесловия</i>	311



Эта книга составлена из текстов мюнхенских прозаиков, поэтов и журналистов, которые многие годы живут в одном городе с Борисом Хазановым — замечательным писателем, собеседником, слушателем, общаются с ним, обсуждают написанное, выступают на литературных вечерах. В сборник вошли разнообразные по жанрам и стилистике сочинения, авторов которых объединяет благодарность судьбе за радость общения с человеком редкого дарования — Геннадием Моисеевичем Файбусовичем, известным читателям под псевдонимом Борис Хазанов.



Мюнхен, 2021

ImWerdenVerlag
<https://imwerden.de>